

АПУЛЕЙ
АПОЛОГИЯ
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЛОРИДЫ

Луций Апулей Флориды

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158639

Апулей «Апология. Метаморфозы. Флориды», серия «Литературные памятники»: Издательство Академии наук СССР; Москва; 1956

Аннотация

Значительный интерес для филолога и историка представляет сборник «Флориды». Предполагают, что первоначально он был значительно больше и состоял только из целых речей; впоследствии же какой-то поклонник таланта Апулея выбрал из этих речей наиболее понравившиеся ему места. Принцип отбора был, повидимому, чисто стилистическим, так как никакой смысловой связи между отрывками нет; мало того, иные из них не содержат даже законченной мысли и обрываются на полуслове. То, что объединяет их все, – это лишь поразительная изощренность и отточенность стиля. «Флориды» – зеркало общественных и литературных нравов той эпохи, ее идей, настроения и радостей.

Содержание

I.	5
II.	7
III.	10
IV.	13
V.	14
VI.	15
VII.	18
VIII.	21
IX.	22
X.	31
XI.	32
XII.	33
XIII.	35
XIV.	36
XV.	38
XVI.	44
XVII.	56
XVIII.	61
XIX.	70
XX.	73
XXI.	75
XXII.	77
XXIII.	79

ПРИЛОЖЕНИЯ	81
Апулей	81
О языке и стиле Апулея	105

Апулей Флориды

I.

Вошло в обычай у благочестивых путников: если попадет-ся им на пути какая-нибудь роща или иное какое-нибудь место, богам посвященное, загадывают они заветные желания, плоды пред святынею возлагают, присаживаются ненадолго¹. Вот так же и я, хотя и очень спешу, все же, вступив в пределы этого высоко почитаемого города², должен раньше всего постараться снискать ваше благоволение, выступить с речью, обуздать свою поспешность. В самом деле, ведь это дает путнику не менее основательный повод для благочестивой остановки, чем алтарь, цветами увитый, пещера, тенистою сенью листвы укрытая, дуб, рогами увешанный³, бук, мехами увенчанный⁴; или, например, чем холмик, в дар божеству принесенный и оградю обнесенный, или пень с вырезанным

¹ Во время молитвы древние сидели.

² О каком городе идет здесь речь, неизвестно.

³ Рога оленей и других диких животных были обычным приношением богине охоты Диане.

⁴ Звериные шкуры также приносились в дар Диане или лесному богу Сильвану.

на нем изображением, или орошенный возлиянием дерн ⁵, или камень, благовоною мазью умащенный ⁶. Как все это, право же, незначительно! Лишь немногие проявляют интерес к таким святыням и поклоняются им, а люди неосведомленные равнодушно проходят мимо.

⁵ Имеется в виду, вероятно, алтарь из дерна.

⁶ Ср. «Апология», гл. 56.

II.

Но Сократ, мой великий предшественник ⁷, придерживался совсем другого мнения. Как-то раз он довольно долго глядел на красивого юношу, все время хранившего молчание, и, наконец, попросил его: «Теперь, чтобы я мог тебя увидеть, скажи что-нибудь». Стало быть, если человек молчал, Сократ его не видел. Это и понятно: ведь он считал, что когда рассматриваешь человека, следует полагаться на взор души, на остроту разума, а не глаза. В этом вопросе он расходится с солдатом у Плавта, который говорит так:

Двум глазам скорей поверим мы, чем двадцати ушам ⁸.

Мало того, Сократ даже вывернул этот стих наизнанку ⁹, применив его к изучению людей:

Двум ушам скорей поверим мы, чем двадцати глазам.

Впрочем, если бы показания глаз имели большую силу, чем свидетельства разума, то пальму первенства в мудрости

⁷ Платоник Апулей называет Сократа, учителя Платона, своим предшественником.

⁸ Плавт, «Грубиян» (Truculentus), 489.

⁹ Разумеется, Сократ, живший двумя веками раньше Плавта, не мог знать его стихов, но мысли Сократа соответствует «вывернутый наизнанку» стих Плавта.

пришлось бы присудить, несомненно, орлу. И в самом деле, мы, люди, не в состоянии различить глазами ни того, что находится слишком далеко, ни того, что совсем близко – все мы, в какой-то мере, страдаем слепотою; и если принимать в расчет только наши глаза и это земное, слабое зрение, то, разумеется, трижды прав великий поэт, говоря, что какое-то подобие облака разлито у нас перед глазами и мы различаем не дальше, чем на расстояние полета камня ¹⁰. А вот орел, когда подыметя на страшную высоту, до самых облаков, и крылья пронесут его сквозь все то пространство, где идет дождь и падает снег, к тому пределу, за которым нет уже ни молнии, ни грома, к самому, если можно так выразиться, подножию эфира и вершине бурь; – когда, повторяю, достигнет орел такой высоты, то слегка наклоняет могучее тело и начинает плавно скользить то вправо, то влево, обращая паруса своих крыльев куда заблагорассудится, а хвост служит ему маленьким кормилом. Затем, окидывая взором все, что простирается внизу, он замедляет на мгновение свой полет и, паря почти неподвижно на распростертых крыльях, подобных не знающим усталости веслам, осматривается кругом, отыскивая, куда бы лучше всего обрушиться ему с высоты, чтобы с быстротою молнии настичь добычу. Со своего места в небе он видит сразу и стада в полях, и зверей в горах, и людей в городах, и всех держит под угрозой нападения, о которой никто не подозревает. Он ждет лишь удобной

¹⁰ Гомер, «Илиада», III, 12 ел.

минуты, чтобы пронзить клювом, схватить когтями ягненка беспечного или зайчика трусливого, или любое другое живое существо, которое пошлет ему случай на пожрание или растерзание.

III.

Гиагнис, как рассказывают, был отцом и учителем флейтиста Марсия. В тот, не ведавший еще музыки век, он первый, раньше всех других начал исполнять различные мелодии, хотя, конечно, звуки, которые он извлекал из своего инструмента, не были столь трогательными, лады столь разнообразными, а отверстия флейты столь многочисленными, как теперь: ведь искусство это в те времена было новым открытием и едва-едва успело появиться на свет. Нет в мире ничего, что могло бы достичь совершенства уже в зародыше, напротив, почти во всяком явлении сначала – надежды робкая простота, потом уж – осуществления бесспорная полнота. Так вот, до Гиагниса большинство людей знали толк в музыке ничуть не больше, чем овчар или волопас у Вергилия:

Дудкой скрипучей своей губили несчастные песни ¹¹,

А если кто-нибудь и достигал, как казалось тогда, несколько больших успехов в этом искусстве, все же и он продолжал придерживаться обычая и играл на одной флейте или на одной трубе. Гиагнис был первым, кто развел в стороны руки во время игры, первым, кто одним дыханием оживил сразу две флейты, первым, кто, воспользовавшись отверстиями

¹¹ Вергилий, «Буколики», III, 27.

слева и справа, смешал высокие звуки и низкие тона, создав стройную гармонию ¹².

Сын его Марсий, хоть и пошел по стопам отца и мастерски играл на флейте, оставался все же варваром-фригийцем: смотрит диким зверем, свирепый, косматый, борода в грязи, весь оброс шерстью и щетиной. И говорят, что этот самый Марсий (страшно вымолвить!) состязался с Аполлоном: омерзительное уродство – с совершенною красотой, невежество – с ученостью, чудовище – с богом! Судьями, шутки ради, были Музы и Минерва ¹³; впрочем, они хотели не только посмеяться над варварством этого уродца, но и наказать его тупость. Однако Марсий не понимал, что над ним издеваются (самое убедительное доказательство глупости!), и прежде чем начать дуть в свою флейту, принялся на варварский лад нести какой-то вздор о себе самом и об Аполлоне. Себя он превозносил до небес – и свои откинутые назад волосы, и нерасчесанную бороду, и косматую грудь, и искусство флейтиста, и удел нищего. Аполлона же (смешно сказать!) порицал, ставя ему в вину противоположные качества: Аполлон,

¹² Инструмент, на котором, по словам Апулея, играл Гиагнис, представлял собою две дудочки, несколько напоминавшие современный гобой, в мундштуки которых дули одновременно. Первоначально в каждой из них было по 4 отверстия – соответственно числу свободных пальцев. Позже на стволы инструмента стали надевать особые передвижные кольца, закрывавшие все ненужные музыканту в данный момент отверстия, что позволило увеличить общее число последних.

¹³ Минерва (Афина) считалась у древних изобретательницей флейты. По другой, более распространенной версии мифа, состязание судили одни только Музы.

де, и волос не подстригает, и щеки у него нежные, и тело безволосое, и опытен он не в одном, а во многих искусствах, и удел его – удел богача. «Во-первых, – сказал Марсий, – волосы у него прядями ниспадают на лоб и локонами спускаются по вискам, все тело такое нежное, члены округлые, язык предсказывает грядущее и с одинаковым красноречием вещает и прозой и стихами. А одежда его! – тонко вытканная, на ощупь мягкая, пурпуром сверкающая! А лира, что золотом пламенеет, слоновою костью белеет, драгоценными камнями играет! А его звонкое пение, такое мастерское и прекрасное! Вся эта роскошь, – продолжал он, – добродетели никак не украшает, но служит спутницей изнеженности». Своим же телом Марсий, напротив, хвастался, не зная меры, и называл себя высшим образцом красоты.

Засмеялись Музы, когда узнали, в чем упрекает Аполлона Марсий, – ведь упреки такого рода мудрец мечтает услышать, – и флейтиста этого, потерпевшего поражение в состязании, освеживали, словно медведя какого-нибудь двуногого, да так и бросили – с обнаженным и висящим клочьями мясом¹⁴. Вот как Марсий играл и доигрался до казни. Впрочем, Аполлон стыдился, разумеется, столь ничтожной победы.

¹⁴ Апулей снова отступает от общепринятой версии, согласно которой не Музы, а сам Аполлон расправился со своим противником.

IV.

Жил когда-то флейтист по имени Антигенид ¹⁵. Сладостен был каждый звук в игре этого музыканта, все лады были знакомы ему, и он мог бы воссоздать для тебя, по твоему выбору, и простоту эолийского лада, и богатство ионийского, и грусть лидийского, и приподнятость фригийского и воинственность дорийского. И вот, по словам этого флейтиста, который был столь знаменит своим искусством, ничто его так не оскорбляло, ничто не угнетало так его душу и разум, как мысль, что похоронных трубачей называют флейтистами. Впрочем, он стал бы спокойно относиться к этой общности имен, если бы взглянул на выступление мимов ¹⁶; он обнаружил бы, что одни из них занимают почетные места, а другие, хоть и одеты в пурпур, почти так же точно, как первые, получают удары. И то же самое заметил бы он, если бы побывал на наших гладиаторских играх: ведь и здесь он увидел бы, как один человек сидит на почетном месте, а другой бьется насмерть. Да вот и тога – ее увидишь и на свадьбе, и на похоронах; и плащ – он окутывает трупы ¹⁷ и служит одеждой философу.

¹⁵ Знаменитый греческий флейтист и композитор конца V – начала IV вв. до н. э. родом из Фив.

¹⁶ См. прим. 50 к «Апологии».

¹⁷ Римляне обычно одевали покойников в тогу, а греки – закутывали в плащ.

V.

Да, похвальное усердие привело вас в театр! Ведь вы знаете, что место не в состоянии лишить речь ее значительности, но, напротив, прежде всего следует обращать внимание на то, что предстает твоему взору в театре. И в самом деле, если это мим, ты посмеешься, канатоходец – замрешь от страха, комедия – похлопаешь, философ – поучишься.

VI.

Индусы – многочисленный народ, насчитывающий огромное количество людей и занимающий огромное пространство. Живут они далеко к востоку от нас, в тех краях, где изгибается берег Океана и восходит солнце, там, где рождаются звезды и кончается земля, дальше, чем египтяне ученые, иудеи суеверные, набатеи¹⁸-торговцы, дальше арсакидов¹⁹ в развевающихся одеждах и бедных плодами итиреев²⁰, и богатых благовониями арабов. У этих-то вот, повторяю, индусов больше всего восхищают меня не горы слоновой кости, не сборы перца, не караваны киннамона²¹, не закалка стали, не серебряные рудники, не золотые потоки; не то, что их Ганг – величайшая из всех рек:

Вод повелитель восточных, на сто рукавов разделяясь,
Сто образует долин плодородных, сто устьев широких И с
Океаном шумящим сливается сотней потоков; не то, что, хотя живут индусы в самом царстве утренней зари, кожа их на-

¹⁸ Набатеи – арабское племя, проживавшее в начале новой эры в юго-западном Заиордании.

¹⁹ Арсакиды – парфяне, названные так по имени царя Арсака I (III в. до н. э.), основателя Парфянского государства.

²⁰ Итиреи (или итурей) – жители горной бесплодной области к северо-востоку от Палестины.

²¹ См. прим. 16 к кн. II «Метаморфоз».

поминает ночь своим цветом; не то, что огромные драконы у них вступают в бой с чудовищными слонами – битва, одинаково опасная для обоих и обоим несущая гибель. И в самом деле, дракон, поймав противника в свои гибкие кольца, скывывает его, так что слон, который не в силах и шагу ступить или вообще как-то разорвать свои цепкие чешуйчатые змеиные путы, не видя никакого иного пути к мщению, падает и всею тяжестью своего тела раздавливает врага, захватившего его в плен ²².

Разнообразны и жители Индии (мне приятнее говорить о диковинных людях, чем о диковинах природы!). Есть среди них порода людей, которые умеют только коров пасти и ничего больше; потому и прозвище у них – волопасы. Есть и такие, что искусно товары обменивают, и такие, что смело бросаются в сражение, ведя бой и на расстоянии – стрелами, и врукопашную – мечами. Есть у них, кроме того, одна замечательная порода людей, называются они гимнософистами ²³. Ими-то и я восхищаюсь больше всего. Нет у них опыта ни в разведении винограда, ни в прививании деревьев, ни в обработке земли; не умеют они поля возделывать, золото мыть, коней укрощать, быков смирять, ни стричь или пасти овец или коз. Так что же они умеют? Взамен всего этого – лишь одно: почитают и умножают мудрость, все – как пре-

²² Такой же точно рассказ находим у Плиния Старшего (VIII, 11).

²³ Гимнософисты (буквально «нагие мудрецы») – древнеиндийские философы-аскеты, напоминающие современных йогов.

старелые наставники, так и юные ученики. И ничто, по-
тому, не заслуживает у них большей похвалы, чем отвраще-
ние к косности духа и безделию. Поэтому, когда стол уже на-
крыт, но кушанья еще не поданы, все молодые люди оставля-
ют каждый свое занятие и сходятся со всех сторон к трапезе,
а наставники принимаются расспрашивать их, что хорошего
совершили они в этот день со времени восхода солнца. Тут
один рассказывает, что, избранный третейским судьей, он
погасил вражду, восстановил согласие, рассеял подозрения и
сделал врагов друзьями; другой – что подчинился какому-то
приказанию родителей; третий – что пришел к некоторому
заключению, размышляя сам или услышав чужое объясне-
ние. И так каждый рассказывает свою историю. Того, кто не
может привести никаких оснований, дающих право на обед,
выгоняют вон голодным и возвращают к трудам.

VII.

Знаменитый Александр, несомненно, величайший из всех царей, был прозван за свои подвиги и завоевания Великим – для того, чтобы никогда не упоминался без похвалы муж, стяжавший беспримерную славу. И правда, ведь с самого начала времен он остается на памяти человечества единственным, кто, покорив своей неодолимой власти целый мир, встал выше собственной судьбы, величие щедрот которой было следствием его энергии, равно его заслугам и осталось позади в сравнении с его величием; единственным, чья блистательная слава до того не знакома с соперничеством, что никто не осмеливается и мечтать о его доблести, ни желать для себя его судьбы. Этот Александр совершил множество возвышенных дел и прекрасных поступков, устаешь восхищаться и его смелостью на войне, и его мудрою прозорливостью в мирное время – каждым из тех случаев, которые прославил в своей прелестной поэме мой Клемент, самый ученый и самый приятный из поэтов ²⁴.

Но вот одно из самых замечательных деяний Александра: стремясь оставить потомкам как можно более точное свое изображение, он не пожелал, чтобы множество художников публично искажали его облик. Поэтому он издал указ, запре-

²⁴ Никаких других упоминаний об этом «самом ученом и самом приятном из поэтов» не сохранилось.

щавший кому бы то ни было в подвластном ему мире создавать по собственному желанию изображения царя в бронзе, в красках или в рельефе: только Поликлет²⁵ получал право отливать их из бронзы, только Апеллес²⁶ – писать красками, только Пирготель²⁷ – вырезать в рельефе. Если же найдется кто-нибудь иной – помимо этих троих самых знаменитых в своем искусстве мастеров, – кто протянет руку к священнейшему образу царя, того настигнет кара такая же точно, как за святотатство. И вот всеобщий страх этот стал причиной того, что только один Александр запечатлен с полнейшим сходством на всех изображениях: каждая статуя, картина, рельеф передает одну и ту же энергию неутомимого воителя, тот же гений величайшего государственного мужа, ту же прелесть цветущей юности, то же благородство открытого лба.

О, если бы и в философии подобным же образом имел силу указ, запрещающий первому встречному посягать на ее подобие! Указ, предписывающий, чтобы лишь немногочисленные славные мастера, подлинные знатоки своего искусства, подвергали всестороннему рассмотрению проблемы мудрости, а люди грубые, нечистоплотные, необразованные не смели бы подражать философам, у которых они не заим-

²⁵ Поликлет – греческий скульптор V в. до н. э., родом из Сикиона (город в северной части Пелопоннеса); жил целым веком раньше Александра. В действительности придворным скульптором Александра был земляк Поликлет а Лисипп.

²⁶ Апеллес – крупнейший греческий живописец IV в. до н. э., уроженец города Колофона в Малой Азии.

²⁷ Пирготель – прославленный греческий резчик гемм.

ствуют ничего, кроме плаща ²⁸, и не искажали бы облика царственной науки, созданной для обучения как славным речам, так и славной жизни, своими скверными речами и ничуть не лучшей жизнью. И то, и другое, разумеется, – дело совсем не хитрое. И действительно, найдется ли что-нибудь более простое, чем сочетание несдержанности языка с низостью нравов (первая – следствие презрения к другим, вторая – к самому себе)? Ведь собственная нравственная нечистоплотность – это знак презрения к самому себе, а грубые нападки на других – оскорбление слушателей. Разве не наносит вам величайшего оскорбления тот, кто считает, будто вам доставляет удовольствие слушать, как поливают грязью любого из порядочных людей, кто полагает, будто вы не понимаете скверных и порочных слов, а если и понимаете, то соглашаетесь с ними? Какой грубиян, какой носильщик или кабатчик, приди ему в голову мысль надеть на себя плащ, не сумел бы браниться более красноречиво, если он только не совсем косноязычен?

²⁸ Плащ считался как бы обязательным для философа одеянием. Ср. «Флориды», IV.

VIII.

Да, он в большой мере обязан самому себе, чем своему званию, хотя и звание у него не такое, как у других. В самом деле, среди бесчисленного множества людей лишь немногие – сенаторы, среди сенаторов немногие – знатного рода, а среди последних немногие – консуляры; среди консуляров немногие – люди добродетельные, и, наконец, немногие среди добродетельных – ученые. Но если говорить только о должности, следует признать, что первому встречному не позволено присваивать себе знаки отличия должностного лица – ни его одежду, ни обувь ²⁹.

²⁹ Платье и обувь представителей различных сословий в Риме не были одинаковы. Так, сенаторы носили тогу с широкой пурпурной каймой и сандалии особой формы.

IX.

Если получилось так, что в вашем прекрасном собрании сидит как какой-нибудь из моих завистливых недоброжелателей (ведь во всяком большом городе найдутся и такие, кто предпочитает чернить более достойных, а не подражать им, и, не рассчитывая уже хоть в чем-нибудь уподобиться этим людям, питают лишь ненависть к ним, с тою, разумеется, целью, чтобы темная безвестность их собственных имен осветилась сиянием моего имени); – так вот, если кто-нибудь из таких злобных ворчунов затесался в ваше блистательное общество, пятная его своим присутствием, пусть окинет он взором это небывалое скопление слушателей и, взглянув на огромную толпу, какой никогда не видывали прежде на выступлениях философов, пусть обдумает и сообразит, какому тяжелому испытанию подвергается здесь добрая слава человека, не знакомого с людским пренебрежением. Да, потому что удовлетворить даже скромным ожиданиям немногих собравшихся – дело непростое и крайне затруднительное, а в особенности для меня: ведь и доброе имя, которое я уже успел приобрести, и ваше благосклонное ко мне отношение не позволяют мне ни слова вымолвить попусту или необдуманно. И в самом деле, кто из вас простит мне хоть один

солецизм ³⁰? Кто пропустит мимо ушей один-единственный слог, на варварский лад произнесенный? Кто разрешит нести вздор, бормоча бессвязные, искаженные слова, как бы сорвавшиеся с уст безумца? Между тем другим вы легко простили бы это и, несомненно, были бы правы. Но все, сказанное мною, вы внимательно изучаете, тщательно взвешиваете, проверяете напильником и отвесом, сравниваете с токарной работой и трагическим котурном ³¹. Такова снисходительность, которою пользуется посредственность, таковы трудности, которые стоят на пути высоких достоинств.

Итак, мне отлично известна трудность моей задачи, и я не прошу вас представлять себе ее в ином виде. Но только не позволяйте поверхностному и лживому сходству вводить вас в заблуждение: ведь кругом, как я всегда предупреждаю, бродят какие-то попрошайки в плащах ³².

Вместе с проконсулом на трибунал ³³ поднимается и его глашатай, где и он, одетый в свою тогу, хорошо виден каждому; он долго стоит там или расхаживает взад и вперед, или чаще всего выкрикивает что-нибудь во всю мочь. А сам проконсул говорит сидя, вполголоса, с большими перерывами и

³⁰ Солецизм – неправильный в синтаксическом отношении оборот речи.

³¹ В оригинале: *torno et coturno vero comparatis*. Слушатели ожидают от Апулея речи, отточенной и отшлифованной и, в то же время, исполненной высокого пафоса.

³² Т. е. лжефилософы. Ср. это место со второй половиной отрывка VII.

³³ Возвышение, на котором сидели должностные лица при исполнении своих обязанностей.

чаще всего читает по табличке. Да оно и понятно: зычный крик – это служба глашатая, а табличка – постановление проконсула, в котором, коль скоро оно было оглашено, нельзя ни прибавить, ни убавить ни единой буквы; как его прочитали – в такой же точно форме и передают в архив провинции... Нечто подобное, разумеется, в других; пределах, происходит в ходе моих занятий и со мною. Все, с чем я выступаю перед вами, тотчас же записывается и начинает переходить от читателя к читателю, и я не имею возможности ни взять своих слов обратно, ни изменить, ни исправить в них чего бы то ни было. Тем большей тщательности требуют от меня мои публичные выступления, да и не только один этот вид занятий. Ведь на ниве Муз мои труды более многочисленны, чем труды Гиппия³⁴ на поприще ремесел. Если вы уделите мне минуту внимания, я точно и подробно объясню вам, что имею в виду³⁵.

Гиппий – один из софистов, всех превосходивший богатством и разнообразием своих знаний и никому не уступавший в красноречии. Его современником был Сократ, отечеством – Элида³⁶. Род его был незнатен, слава же велика, состояние скромно, но талант незауряден, память необык-

³⁴ Гиппий – греческий философ-софист середины V в. до н. э. Свой рассказ о нем Апулей заимствовал, вероятно, из диалога Платона «Гиппий меньший» (Hipp. min., p. 368).

³⁵ Здесь оканчивается в рукописях первая книга «Флорид».

³⁶ Область на западе Пелопоннеса.

новенна, занятия разнообразны, соперники многочисленны. Однажды этот Гиппий прибыл в Пису³⁷ на Олимпийские игры, привлекая любопытные взоры своим нарядом и вызывая восхищение историей его изготовления. Из всего, что было на нем, ни одной вещи он не покупал, но все сделал себе своими собственными руками – и одежду, в которую был одет, и обувь, в которую был обут, и украшения, которыми обращал на себя внимание. На теле у него была надета нижняя туника из тончайшей материи, сотканной в три нити и дважды окрашенной пурпуром³⁸; он сам, в одиночку сделал себе дома эту тунику. Опоян он был поясом, разукрашенным вавилонскими узорами удивительно ярких расцветок; и в этом деле он обошелся без чужой помощи. На плечи был у него накинут белоснежный плащ, служивший верхней одеждой; плащ этот, как доподлинно мне известно, был тоже его собственной работы. Даже сандалии, защищавшие его подошвы, он сшил себе сам; даже золотое кольцо на левой руке, с искусно сделанною печатью, которым он так гордился, – ведь это он сам придал форму кольца металлу, сам закрепил камень в оправе, сам вырезал гемму. Но и это еще не все, и, право же, я не постесняюсь рассказать о том, чем Гиппий не постыдился хвастаться: перед многолюдным собранием он объявил во всеуслышание, что кроме всего прочего сам сделал себе фла-

³⁷ Писа – город в Элиде, близ которого происходили Олимпийские игры.

³⁸ В оригинале: *triplici licio, purpura duplici*. Существует и другое понимание этого места: туника соткана в три нити, две из которых – пурпурные.

кон для масла, который носит с собою, – чечевицеобразной формы, с округленными линиями, в виде несколько сплюснутутого шара, а вместе с флаконом – и изящную чесалочку с прямою от начала до конца ручкою, с изогнутой желобком ложечкой; такую чесалочку и в руке держать удобно, и пот из-под нее ручейком стекает ³⁹.

Кто же не похвалит человека столь обширных и разнообразных знаний, столь блистательно и многосторонне образованного, столь изобретательного и опытного в изготовлении домашней утвари?! Я и сам восхищаюсь Гиппием, но, стараясь соревноваться с изобилием его талантов, имею в виду скорее многообразие наук, которые были ему знакомы, чем полезных сведений о домашнем скарбе. Признаюсь, я мало что смыслю в ремеслах, одежду покупаю у ткача, вот эти сандалии приобрел у сапожника, кольца же вовсе не ношу, геммы и золото ценю ни во что, не выше свинца и простых камней, чесалками, флаконами и прочей банной утварью запасаясь на рынке. Да, я прямо и открыто заявляю, что не умею пользоваться ни ткацким челноком, ни шилом, ни напильником, ни токарным станком, ни другими подобными инструментами. Но я признаюсь, что всему этому предпочитаю простую тростинку ⁴⁰ для письма и с ее помощью создаю

³⁹ Чесалка и флакон с маслом (для умашения) – обычные банные принадлежности.

⁴⁰ См. прим. 2 к кн. I «Метаморфоз».

поэмы всех видов, годные для ветви ⁴¹, лиры, сокка ⁴², котурна; есть у меня и сатиры, и загадки, и разные рассказы; пишу я и речи, которые хвалят ораторы, и диалоги, которые хвалят философы, и все это (а также и многое другое того же рода) – как по-гречески, так и по-латыни, сходным стилем, с одинаковой охотой и равным усердием ⁴³.

О если бы сочинения эти, не порознь, не каждое в отдельности, но полностью, одною грудой, я мог положить перед тобою, лучший из проконсулов ⁴⁴, чтобы насладиться плодами почетного твоего суждения обо всем, созданном моею Музой!

Не слава, клянусь Геркулесом, нужна мне – моя старая слава, ярко блиставшая при всех твоих предшественниках, в неприкосновенности дошла и до тебя; но нет для меня уважения дороже, чем уважение человека, которого сам больше всех по заслугам уважаю. Да, такова уж воля природы: кого хвалишь, того и любишь, а кого любишь, от того желаешь и похвалу услышать. И я открыто объявляю себя твоим поклонником, хотя моя привязанность – всецело следствие гражданских, а не каких бы то ни было личных симпатий. Действительно, я ничего от тебя не получал, потому что и не

⁴¹ Ветку лавра или мирта держали в руке, декламируя отрывки из эпических поэм. Обычно с такими декламациями выступали мальчики.

⁴² См. прим, 2 к кн. X «Метаморфоз».

⁴³ Ср. «Флориды», XX.

⁴⁴ Обращение, как явствует из дальнейшего, к наместнику провинции Африки Севериану. Повидимому, речь произносилась в Карфагене, в городском театре.

просил ничего. Но философия научила меня любить не только приносящего добро, но и приносящего зло, скорее прислушиваться к голосу разума, чем служить личной выгоде, и предпочитать общественное благо своему собственному. Поэтому большинство ценит плоды твоей доброты, я же – приверженность к ней. Эту симпатию я испытываю с тех пор, как стал свидетелем твоей умеренности в делах управления провинцией, умеренности, которая должна быть источником особенно горячей любви к тебе: у людей, узнавших тебя, – за те благодеяния, которые ты им оказал, у людей посторонних – за тот пример, который ты им подал. Ведь и благодеяниями услужил ты многим, и примером всем принес пользу. Кто же не будет счастлив узнать у тебя, посредством какой умеренности оказывается возможным сохранить в обходительности величие, в строгости снисходительность, в кротости непреклонность, в мягкости энергию – свойственные тебе качества?! Ни к одному из проконсулов, насколько мне известно, не было у провинции Африки чувство почтения сильнее, робости – слабее; ни в один год, кроме твоего ⁴⁵, не был стыд более серьезным препятствием на пути к преступлению, чем страх. Никто другой, облеченный такую же властью, не приходил чаще на помощь, не наводил реже ужас, никто не привозил с собой сына, до такой степени подобного в добродетелях отцу. Потому-то никто из проконсулов не находился в Карфагене дольше твоего: даже в то время, ко-

⁴⁵ Наместники в провинциях сменялись ежегодно.

гда ты совершал объезд провинции, мы, благодаря Гонорину, который оставался с нами, не так резко ощущали твое отсутствие, как желание снова увидеть тебя. Мы нашли в сыне отцовскую справедливость, в юноше мудрость старца, в легате внушительность консула, одним словом – все твои добродетели в таком точном повторении, что, клянусь богом, скорее в юноше, чем в тебе, заслуживали бы восхищения эти достоинства, если бы не ты сам передал их ему. О, если бы вечно можно было наслаждаться их плодами! Какое нам дело до этой смены проконсулов до мимолетности лет, до поспешности месяцев?! О, краткие дни пребывания благих мужей, о, быстрый круговорот, уносящий достойных наместников! Вот уже всей провинцией мы тоскуем по тебе, Севериан. Но Гонорина и призывает к претуре занимаемая должность ⁴⁶ и подготавливает к консульству благосклонность Цезарей ⁴⁷, наша любовь окружает его сегодня, а надежда клянется возвратить его Карфагену в будущем, и весь город утешает себя лишь мыслью, что, последовав твоему примеру ⁴⁸, тот, кто

⁴⁶ В Риме существовал строгий порядок и постепенность в переходе от одной должности к другой. Повидимому, Гонорин, состоявший легатом при проконсуле, уже прошел квестуру (или эдилство), и теперь ему предстояло баллотироваться на должность претора, а затем – консула.

⁴⁷ Т. е. Марка Аврелия и Луция Вера. Совместный принципат этих двух императоров продолжался со 161 по 169 г.; к этим годам и относится та речь, из которой извлечен данный отрывок.

⁴⁸ По-видимому, в прошлом и сам проконсул Севериан побывал в Африка в качестве легата при наместнике.

покидает нас легатом, скоро вернется проконсулом.

Х.

И Солнце, что пылающей упряжкой
И колесницею сверкает огненной,

и равным образом, Луна, чей свет – лишь отражение солнечного, и силы пяти остальных планет: благодетельная сила Юпитера, сладострастная – Венеры, стремительная – Меркурия, гибельная – Сатурна, огненная – Марса.

Существуют и другие посредствующие божественные силы ⁴⁹, которые можно ощущать, но не дано лицезреть; таков Амур и остальные подобные ему божества – внешность их ускользает от взгляда, но власть известна каждому. Это она, повинувшись предначертаниям провидения, в одних местах воздвигла крутые вершины гор, в других распростерла ровную гладь полей; это она повсюду указала, где рекам течь, где лугам зеленеть, она научила птиц летать, змей ползать, зверей бегать, людей ходить.

⁴⁹ Учение о божествах среднего ранга, своего рода связующем звене между людьми и всемогущим богом, Апулей излагает в трактате «О боге Сократа».

XI.

Да, с ним происходит то же самое, что с теми несчастными, которые возделывают бесплодный и каменистый клочок земли, доставшейся им в наследство, – настоящую скалу, заросшую терновником. Их пустыня не способна родить ничего, и никаких плодов не увидишь там:

Все меж собой поделили овес бесплодный и плевел ⁵⁰.

Ничего не собравши с собственных полей, они отправляются на чужие и принимаются за кражи, срывая цветы соседей, для того, разумеется, чтобы перемешать эти цветы со своими волчцами. Вот точно так же и тот, кто сам беден достоинствами ⁵¹...

⁵⁰ Вергилий, «Георгики», I, 154.

⁵¹ Текст оригинала обрывается на середине фразы.

ХИ.

Птица попугай – индийская птица. Размерами он лишь немногим меньше голубя, но цветом отличается от голубя: он и не молочно-белый, и не сизый, и не белый в сизых пятнах, не бледно-желтый и не пестрый, нет, попугай весь зеленый от пушка у самой кожи до конца крылышек, и только шея выделяется на этом фоне. Шею же окружает пунцовая полоска, блеском своим подобная золотому украшению, она служит попугаю и ожерельем, и венком. Клюв необыкновенной твердости: когда, стремглав бросившись с огромной высоты вниз, попугай падает на какую-нибудь скалу, клюв его, подобно якорю, принимает на себя всю силу удара. Впрочем, и голова не менее тверда, чем клюв. Когда попугая учат подражать человеческой речи, его колотят по голове железным прутиком, чтобы он как следует почувствовал, что такое властная рука наставника; это для него школьная розга.

Учится птенец, начиная с самого рождения в течение двух первых лет жизни, пока рот податлив и легко принимает нужную форму, пока язык гибок и легко приводится в движение; пойманная же в старости птица и бестолкова и забывчива. В любом случае особенно легко усваивает человеческую речь такой попугай, который питается жолудями и у которого на каждой ноге по пяти пальцев, как у людей. Не всем попугаям это свойственно, но все они обладают од-

ной характерной особенностью: язык у них шире и больше, чем у остальных птиц. Потому-то они и произносят слова человеческого языка сравнительно легко: ведь плектр-язык⁵² может ударяться об нёбо на довольно большом протяжении. То, что попугай выучил, он поет или, правильнее сказать, выговаривает, и выговор птицы до того похож на наш, что, услышав ее, каждый подумает: это говорит человек. А послушай-ка ворона, когда он пытается делать то же самое, – ведь он каркает, а не разговаривает. Впрочем, будь то ворон или попугай, безразлично, они произносят только то, что выучат. Научи его брани – и он будет браниться дни и ночи напролет, и уши прожужжит тебе своими проклятьями: это его песня, ее он считает своей трелью. Когда же он исчерпает весь запас выученных ругательств, снова повторяет ту же самую песенку. И если ты хочешь избавиться от этой брани, придется вырвать ему язык или выпустить его на волю как можно скорее, чтобы он улетел назад в свои леса.

⁵² Плектр – палочка, которой ударяли по струнам кифары.

ХІІІ.

Нет, тот вид красноречия, которым наградила меня философия, совсем не похож на дар пения, которым природа наделила некоторых птиц; они поют недолго и лишь в определенное время: ласточки утром, цикады ⁵³ в полдень, совы в сумерках, сычи вечером, филины ночью, петухи перед рассветом. Песни этих животных слышатся в разную пору и все звучат по-своему: петух подбадривает, филин вздыхает, сыч жалуется, сова пускает трели, цикада стрекочет, ласточка пронзительно свистит. Другое дело – философ: его речь, как и мудрость его, не иссякает со временем, внушает почтение слушающему, приносит пользу понявшему, звучит на все лады.

⁵³ Удивительно, что Апулей среди птиц (*aves*) называет цикаду. Можно было бы думать, что это слово имеет здесь значение *volucres*, т. е. «крылатые» (все вообще, а не только птицы), и Флоридус (Флери) так и истолковывает его в своей подстрочной *interpretatio*. Однако у других авторов слово *avis* в таком значении, по-видимому, не засвидетельствовано.

XIV.

Вот какие истины услышал Кратет ⁵⁴ от Диогена, частью же постиг их и собственным умом. Наконец, однажды прибегают он на форум, бросает имущество, словно груз навоза, скорее обременительный, нежели полезный, а потом, оказавшись в окружении огромной толпы, восклицает: «Кратет отпускает Кратета на волю». С той поры и до самого конца своей жизни он жил счастливо – не только что без единого раба, но даже голый и от всего, без изъятия, свободный. И до того завидной была его участь, что девушка знатного рода, отказав молодым и богатым женихам, сама остановила свой выбор на нем. Кратет обнажил свою спину, которая была украшена горбом, и, положив на землю суму с палкой и плащ, объявил девушке, что весь его домашний скарб – перед нею и что красоту жениха она уже видела; пусть же она как следует обдумает свое решение, чтобы потом не пришлось ей раскаиваться. Однако Гиппарха приняла все эти условия. Она ответила, что уже давно все обдумала как следует и как следует взвесила и что нигде не сумеет найти мужа ни богаче, ни красивее; пусть же он возьмет ее и ведет, куда захочет. Киник привел ее в портик, и там, в людном месте, средь бела дня, у всех на виду лег рядом с нею; тут же на виду у всех он ли-

⁵⁴ См. прим. 90 к «Апологии». Ср. также «Апология», гл. 22.

шил бы ее невинности, которую с самообладанием, не уступавшим его собственному, предлагала ему девушка, если бы Зенон ⁵⁵ не растянул свой драный плащишко и не защитил учителя от любопытных взоров людей, стоявших вокруг.

⁵⁵ Зенон из Китиона на острове Кипр (конец IV – начало III вв. до н. э.). основатель стоической школы, был одно время учеником киника Кратета.

XV.

Самос – небольшой остров в Икарийском море, расположенный напротив Милета, к западу от него, на расстоянии немногих часов плавания: в тихую погоду судно, идущее в ту или другую сторону, приходит в порт на следующий день. Земля эта плохо родит хлеб, непригодна для плуга, более благоприятна для маслин, и ни виноградарь, ни огородник не тревожат ее. Все полевые работы там состоят в окапывании и прививках, и, судя по сбору фруктов, остров скорее плодоносен, чем плодороден. Впрочем, жителей на нем много, и чужеземцы часто посещают его. Есть там город, далеко не отвечающий своей громкой славе, но свидетельствующий о былом величии своим многочисленными развалинами стен ⁵⁶. Исстари знаменит храм Юноны на острове ⁵⁷. Храм этот стоит на пути к морскому берегу, если я только верно припоминаю дорогу, не больше чем в двадцати стадиях ⁵⁸ от города. Сказочно богата тамошняя сокровищница богини: огромно количество золота и серебра в виде чаш, зеркал, кубков и тому подобной утвари. Немало там и бронзы в различных изображениях прекрасной и очень древней работы,

⁵⁶ Древний город Самос, некогда очень красивый и богатый, пришел в большой упадок после войн римлян с Митридатом и с пиратами (I в. до н. э.).

⁵⁷ См. прим. 9 к кн. VI «Метаморфоз».

⁵⁸ См. прим. 30 к кн. IX «Метаморфоз».

и среди них – поставленная перед алтарем статуя Бафилла ⁵⁹, дар тиранна Поликрата ⁶⁰; кажется, ничего более совершенного я не знаю. (Некоторые ошибочно полагают, что это статуя Пифагора). Скульптор изобразил юношу замечательной красоты; волосы, разделенные спереди на две равные части, ниспадают вдоль щек, а сзади, более длинные, они доходят до плеч, оттеняя просвечивающую сквозь кудри шею; шея исполнена силы, щеки округлы и нежны, а посреди подбородка – ямочка. Поза – точь-в-точь как у кифареда: он смотрит на богиню и как будто поет. Туника, украшенная вышивкой, спускается до самых пят и поддерживается поясом на греческий лад. Хламида закрывает обе руки до запястий и вдоль тела красивыми складками струится. Кифара надежно прикреплена к чеканной перевязи и висит на ней. Руки у юноши изящные, удлиненные; левая, с раздвинутыми пальцами, касается струн, правая повторяет движение музыканта, подносящего плектр к кифаре, и точно готова ударить по струнам, едва лишь смолкнет голос поющего, между тем как песнь эта льется, кажется, с полуоткрытых губ округленного рта.

Эта статуя изображает скорее всего какого-то молодого человека, возлюбленного тиранна Поликрата; по долгу

⁵⁹ Бафилл – любимец поэта Анакреонта, который воспевал его в своих стихах

⁶⁰ Поликрат (VI в. до н. э.) – тиранн Самоса, возвысивший этот остров до положения первой морской державы на Эгейском море. При дворе Поликрата жил поэт Анакреонт.

дружбы он поет своему покровителю что-то из Анакреонта. Но, по многим соображениям, статуей философа Пифагора она быть не может. Да, действительно, Пифагор был уроженцем Самоса, отличался редкостной красотой, превосходно играл на кифаре и вообще был глубочайшим знатоком музыки, жил почти в те же самые годы, когда Поликрат владел Самосом, но никогда не был философ возлюбленным тирана. В самом начале его правления Пифагор тайно бежал с острова. Незадолго до того он потерял отца, Мнесарха, который, насколько мне известно, славился среди мастеров своим искусством вырезать геммы, но стяжал скорее славу, чем богатство. Некоторые утверждают, что в это время Пифагор, захваченный в плен на пути в Египет, оказался в числе рабов царя Камбиза ⁶¹; что наставниками его были персидские маги, и главным образом – Зороастр ⁶², блюститель всех божественных тайн; что затем выкупил его некий Гилл, один из первых граждан Кротона ⁶³. Впрочем, большей известностью пользуется рассказ, будто он по собственному желанию отправился в Египет учиться и там у жрецов узнал о невероятном могуществе священнодействий, замечательных чередованиях чисел, хитроумнейших правилах геометрии. Но

⁶¹ Камбиз (VI в. до н. э.) – персидский царь, покоритель Египта.

⁶² Зороастр (Заратустра) – реформатор древнеперсидской религии, главным богом который был Оромаз (Ормузд); Апулей вслед за Платоном считает Оромаза человеком, отцом Зороастра.

⁶³ Кротон – греческая колония в Южной Италии. В Кротоне, по преданию, основал свою школу Пифагор.

и эти познания не заполнили его разум до конца, вскоре он посетил халдеев ⁶⁴, потом брахманов (это племя мудрецов, живет оно в Индии), а находясь среди брахманов, беседовал с гимнософистами. Халдеи открыли ему науку о звездах, пути неизменные божественных планет и многообразные воздействия тех и других на человека в момент его рождения, а также и целебные снадобья, которые, тратя огромные деньги, добывают смертные из земли, воздуха и моря. А брахманы передали ему то, что стало основой его философии: каковы наставления для разума, каковы упражнения для тела, сколько частей в душе, сколько возрастов в жизни, какие наказания или награды ожидают усопших, каждого – по заслугам. Кроме того, и Ферекид ⁶⁵, что родом с острова Сирое, и первый, отважившись сбросить тесные путы стихотворных размеров, стал писать простым языком, вольным слогом, прозаическим стилем, – и он тоже был учителем Пифагора; и когда, пораженный ужасной болезнью, он умер, заживо пожираемый червями, Пифагор похоронил его с благоговением. Говорят, что побывал Пифагор и у Анаксимандра Милетского ⁶⁶ – и размышлял над явлениями природы, что слушал и Эпименида Критского ⁶⁷, знаменитого предсказателя

⁶⁴ См. прим. 26 к кн. II «Метаморфоз».

⁶⁵ Ферекид (VI в. до н. э.), родом с Спроса, одного из Кикладских островов, был автором не дошедшего до нас прозаического сочинения «Пять углублений».

⁶⁶ Анаксимандр (около 610 – после 546 г. до н. э.) – древнегреческий философ, один из виднейших представителей милетской школы.

⁶⁷ Эпименид – критский жрец и философ. В 596 г. до н. э., как рассказывает

и знатока искупительных жертвоприношений, а также Леодаманта ⁶⁸, ученика Креофила ⁶⁹ (рассказывают, будто этот Креофил был другом поэта Гомера и его соперником в искусстве слагать песни).

Просвещенный столь многими учителями и вкусивший от столь многих и столь разнообразных источников знаний во всем мире, муж огромного дарования, превышавшего, несомненно, все человеческие возможности, основатель философии, который впервые нарек ее этим именем, Пифагор прежде всего учил своих учеников молчанию. Первое упражнение будущего мудреца состояло у Пифагора в том, чтобы до конца смирить свой язык, и слова, те самые слова, что поэты называют летучими, заключить, ощипав перья, за белой стеною зубов ⁷⁰. Иначе говоря, вот к чему сводились начатки мудрости: научиться размышлять, разучиться болтать. Однако не на всю жизнь лишались ученики дара слова и не все одинаково долго следовали за учителем в безмолвии. Молчание, ограниченное коротким промежутком вре-

греческий писатель III в. н. э. Диоген Лаэртский (I, 109 ел.), очистил Афины от Килоновой скверны (так называлось проклятие, тяготевшее над убийцами и потомками убийц, умертвивших в 612 г. до н. э. участников заговора Килона, которые искали спасения у алтарей богов).

⁶⁸ О Леодаманте нам ничего неизвестно.

⁶⁹ Креофил – полулегендарный эпический поэт (может быть, родом с острова Самос).

⁷⁰ См. прим. 17 к «Апологии». В оригинале характерная апулеевская игра слов: *intra murum candentium dentium premere*.

мени, считалось достаточным для людей серьезных, но болтунов карали своего рода изгнанием речи сроком почти на пять лет. Что же касается нашего Платона, то он во всем или почти во всем согласен с этой школой и чаще всего рассуждает подобно пифагорейцам. Вот так же и сам я, объятый желанием, чтобы учителя ввели меня в семью платоников, научился, выполняя академические упражнения, и тому и другому: и говорить неустанно, когда нужно говорить, и молчать охотно, когда нужно молчать. И, кажется, это чувство меры доставило мне со стороны всех твоих предшественников столько же похвал за своевременное безмолвие, сколько одобрений за уместные речи ⁷¹.

⁷¹ Отрывок XV заканчивает в рукописях вторую книгу «Флорид».

XVI.

Прежде чем начать благодарить вас, величайшие мужи Африки, за честь, которую вы мне оказали, предложив в моем присутствии воздвигнуть мою статую, и за вашу благосклонность, выразившуюся в решении по этому вопросу, принятом в мое отсутствие, я хочу объяснить вам, почему уже много дней я не показываюсь на глаза моим слушателям и почему ездил я на Персидские Воды ⁷² – очаровательнейшее место: для здоровых – купания и развлечения, для больных – от недугов исцеления ⁷³. Ведь я взял себе за правило отчитываться перед вами в каждой минуте своей жизни, которая неизменно и навсегда посвящена вам; да не совершу я ничего, ни великого, ни малого, без того чтобы не известить вас об этом и не сделать судьями моего поступка. Итак, почему же я неожиданно исчез от взоров вашего блистательного собрания? Я приведу вам пример, который очень напоминает мои собственные злоключения, пример того, как неожиданные опасности вдруг встают на пути у людей; я имею в виду историю комического поэта Филемона ⁷⁴. Талант его вам

⁷² Где находится этот курорт, нам неизвестно, но, по-видимому, где-то неподалеку от Карфагена.

⁷³ В оригинале: *et sanis natabula et aegris medicabula*.

⁷⁴ Филемон (около 361 – около 263 гг. до и. э.) – древнегреческий комедиограф. Современное литературоведение считает его старейшим представителем новой

хорошо известен, выслушайте же в нескольких словах рассказ о его смерти. Или, может быть, вы не отказались бы и от нескольких слов о таланте?

Этот Филемон был поэтом, одним из авторов средней комедии, он писал пьесы для сцены во времена Менандра и состязался с ним – соперник силами, может быть, и не равный, но все же соперник. Больше того, стыдно признаться: многократно он одерживал над Менандром победы. Впрочем, ты найдешь у него много остроумия, изящное построение сюжета, ясные и понятные для зрителя узнавания ⁷⁵, соответствующие обстоятельствам характеры, мысли, служащие отражением жизни, шутки, не опускающиеся ниже уровня комедии, серьезный тон, не поднимающийся до трагических котурнов. Нет у него порока в любовных связях, редки соращения, неопасны заблуждения. Но, тем не менее, тут и сводник лживый, и любовник пылкий, и раб хитрый, и подруга расточительная, и супруга властная, и мать снисходительная, и дядюшка сварливый, и друг заботливый, и солдат драчливый, да к тому же и параситы ⁷⁶ прожорливые, и ро-

аттической комедии (а не средней, как указывает несколькими строками ниже Апулей).

⁷⁵ Узнание – характерный для новой аттической комедии фабульно-композиционный прием: встреча двух близких, но не подозревавших о своей близости людей, которые неожиданно узнают об этом.

⁷⁶ Парасит – нахлебник, прихлебатель – характерная фигура, своего рода типическая маска средней и новой аттической комедии. Вечно голодный парасит скитается по чужим пирам, забавляя гостей и пресмыкаясь перед хозяином.

дители прижимистые и гетеры назойливые.

Однажды, когда все эти достоинства уже давно сделали его знаменитым среди комических поэтов, он читал публично отрывок из своего нового произведения и дошел уже до третьего акта, который, как это обычно бывает в комедии, вызвал особенное восхищение слушателей, как вдруг неожиданно начался ливень (совсем как у нас с вами в тот раз) и заставил собравшихся разойтись, а чтение прервать. Но так как самые различные люди выражали желание поскорее услышать остальное, Филемон обещал завтра же дочитать все до конца.

И вот на следующий день собирается огромная толпа, полная самого горячего нетерпения; все располагаются перед оркестрой ⁷⁷, каждый старается пробраться поближе, опоздавшие знаками просят друзей занять для них местечко поудобнее; сидящие по краям жалуются, что их вот-вот столкнут со скамей; театр набит битком, толкотня невероятная, начинаются взаимные жалобы; те, кто в прошлый раз не были, стараются разузнать, о чем шла речь, а те, кто были, припоминают услышанное; и вот каждый уже знает содержание начала и ждет продолжения.

Тем временем день проходит, а Филемон все не является на свидание, назначенное слушателям. Кое-где раздается ропот недовольства медлительностью поэта, но большинство защищает его. Однако, когда продолжительность ожидания

⁷⁷ См. прим. 4 к кн. II «Метаморфоз».

становится чрезмерной, а Филемон все еще не показывается, посылают нескольких вызвавшихся сходить к поэту и пригласить его придти, и – те находят его на собственном ложе мертвым. Испустив дух, он только что успел окоченеть и лежал на постели, напоминая погруженного в размышления человека: все еще рука заложена в книгу, все еще лицо прижато к поставленному отвесно свитку, но жизнь уже покинула его, исчезли мысли о книге и забыты слушатели. Вошедшие некоторое время оставались без движения, пораженные неожиданностью события и красотой этой удивительной смерти. Затем, вернувшись к народу, они сообщили, что поэт Филемон, который, как ожидали, придет в театр, чтобы дочитать свою вымышленную комедию, уже доиграл дома настоящую драму. Да, ведь он сказал уже этому миру, «хлопайте и прощайте»⁷⁸, а своим близким: «горюйте и рыдайте» (вчерашний ливень был для них предвестником слез). Погребальный факел преградил путь его комедии к факелу свадебному⁷⁹. «И так как этот превосходный поэт, – говорили посланные, – закончил свою роль на сцене жизни, то прямо отсюда, где мы собрались, чтобы послушать его, нам следует отправиться на похороны, и придется сейчас устроить его погребение, а потом, вскорости, чтение сти-

⁷⁸ Такими словами, обращенными к зрителю, обыкновенно заканчивалась комедия.

⁷⁹ Как правило, герои комедии после всех волнений и приключений вступали, наконец, в счастливый брак.

Эта история, которую я рассказал вам, давно мне известна, но сегодня она пришла мне на ум в связи с той опасностью, которой подвергся я сам. Ведь вы, конечно, помните, как дождь прервал мое выступление и как, повинувшись вашему желанию, я перенес его на следующий день – все было точно так же, как у Филемона. И в тот же самый день в палестре я до того сильно вывихнул себе пятку, что хотя перелом и не было и стопа не отделилась от голени, все же кости в суставе сошли со своих мест, и результатом этого вывиха был отек, который и до сих пор не опал. Сильным ударом я вправил сустав, но тут же все тело у меня покрылось обильной испариной и на какое-то время оцепенело. Затем поднялась острая боль во внутренностях и улеглась лишь в тот момент, когда я был уже готов испустить дух в мучениях, которые едва не заставили меня, подобно Филемону, раньше распрощаться с жизнью, чем со слушателями, скорее завершить назначенный судьбою путь, чем выступление, закончить скорее существование, чем повествование⁸¹. Как только нежная теплота Персидских Вод и, в еще большей степени, смягчающее их действие вернули мне дар самостоятельного передвижения, правда не в такой еще мере, чтобы уверенно сту-

⁸⁰ В оригинале непереводаемая игра слов: *legenda eius esse nunc ossa mox carmina* – сейчас нужно собрать его кости, а потом читать стихи.

⁸¹ В оригинале: *...ante letum obire quam lectura, potius implere fata quam fanda, comsuramare potius animam quam historiam.*

пать на больную ногу, но все же казавшийся достаточным моему нетерпеливому желанию поскорее вернуться к вам, — я отправился в обратный путь, чтобы выполнить свое прежнее обещание; а в это же самое время ваши благодеяния не только избавили меня от хромоты, но даже сделали настоящим скороходом.

Как мог я не торопиться, чтобы горячо поблагодарить вас за эти почести, которых никогда не просил и не добивался? И это не потому, чтобы величие Карфагена не заслуживало просьб о почестях даже от философа, нет; но для того, чтобы ваше благодеяние было безукоризненно цельным и чистым, я не хотел какой-нибудь своей просьбой нарушать его бескорыстную благосклонность; иными словами мне хотелось видеть это благодеяние совершенно добровольным. Да, потому что не пустяками приходится расплачиваться просителю и не малую цену берет тот, кого просят, так что каждый предпочитает необходимое покупать, а не выпрашивать.

Этого правила, по-моему, следует придерживаться особенно строго, когда дело касается почестей. Тот, кто добивался их путем долгих и упорных просьб, должен быть благодарен только самому себе за оказанные ему почести. Тот же, кто стяжал их без хлопот и подозрительного обхаживания влиятельных лиц, двойной благодарностью обязан почтившим его: он и не просил, и все же получил.

Вот и я обязан вам двойной, да нет! — многократной благодарностью, и буду всегда и повсюду громко заявлять об

этом. А теперь, поскольку книга, которую я, разумеется, напишу в связи с этими почестями, еще не закончена, я хочу публично заверить вас в своей признательности. Существует определенная форма, в которой философ должен выражать свою благодарность за решение воздвигнуть ему статую на общественный счет, и я лишь незначительно отступлю от этой формы в книге, которой настоятельно требует от меня высокое положение и достоинство Страбона Эмилиана ⁸². Я надеюсь, что сумею должным образом написать эту книгу, а сегодня ограничусь тем, что с похвалой отзовусь о нем. В самом деле, знания и образованность его настолько велики, что благородство в нем связано в большей мере с его собственной одаренностью, чем со званием патриция и консула. В каких словах, о, Эмилиан Страбон, о, муж, в сравнении со всеми, что были когда-либо, есть или будут, самый славный среди лучших, самый лучший среди славных, самый ученый среди тех и других, в каких же словах вознесу я благодарность тебе за твое ко мне расположение? Как достойным образом прославить твою, столь почетную для меня, благосклонность? Какой ответный дар красноречия сравнится со славой, дарованной мне твоим поступком? Еще не нахожу, клянусь Геркулесом, но буду искать, не покладая рук и напрягая все силы,

«доколе

⁸² Эмилиан Страбон был консулом в 156 году.

В памяти тверд я своей, пока дух мой царит в этих членах»⁸³.

А сейчас, в эту минуту, радость заглушает слова, и восторг мешает мыслям; и разум, весь во власти веселья, предпочитает наслаждаться своим блаженством, а не говорить о нем во всеуслышание. Что делать? Я не хочу казаться неблагодарным, но от радости, которая все еще не дает мне сосредоточиться, не могу выразить своей благодарности. Пусть никто, слышите? – никто из этих чересчур унылых умов не смеет порицать меня ни за то, что о выпавших на мою долю почестях я осведомлен точно в такой же мере, в какой заслужил их⁸⁴, ни за то, что столь явное доказательство расположения мужа, отмеченного величайшей славой и величайшей ученостью, наполняет меня ликованием. Ведь это доказательство, не менее блистательное, чем благосклонное, было дано мне в сенате Карфагена, было дано человеком, занимавшим прежде должность консула. Человек, одно только знакомство с которым само по себе есть вершина почета, этот человек выступает перед величайшими мужами Африки и даже в какой-то степени прославляет меня! Ведь, как

⁸³ Вергилий, «Энеида», IV, 336.

⁸⁴ Место, трудное для истолкования. В оригинале: *honorem meum non minus mereor, quam intellego*. Может быть, Апулей хочет сказать, что заслуги его, конечно, очень незначительны, но зато и неизвестно ничего достоверного о подлинной цене оказанных ему почестей: дальше выясняется, что статуи, о которых он говорит, все еще не поставлены.

мне стало известно, третьего дня он отправил письменное ходатайство, в котором просил, чтобы статуя мне была воздвигнута в оживленном и людном месте, указывая при этом прежде всего на то, что нас связывают с ним законы дружбы, достойное начало которой положили совместные занятия у одних и тех же учителей. Затем он перечисляет все добрые пожелания, которыми я сопровождал его шаги по лестнице почестей. Уж то, во-первых, было благодеянием, что он вспомнил обо мне как о своем соученике. А вот вам и другое благодеяние: занимая столь высокое положение, он открыто говорит о моем чувстве любви и почтения к нему, как будто я ему ровня. Больше того, он отметил, что в других странах, в других городах мне воздвигались статуи и сказывались иные почести. Что еще можно добавить к такой похвале бывшего консула? Но и это еще не все: ведь он напомнил, что сан жреца, которым я был облечен, был величайшей почестью из всех, какие возможны в Карфагене. Однако самым большим благодеянием, превосходившим все остальные, было то, что этот отличающийся необыкновенной щедростью свидетель, рекомендуя меня вам, подкрепил свои показания собственным решением: послание свое он увенчал обещанием воздвигнуть мне в Карфагене статую на собственный счет ⁸⁵ — он, этот муж, которому все провинции считают за счастье повсюду посвящать изображения запряженных четверкою и

⁸⁵ Страбон Эмилиан намеревался поставить Апулею еще одну статую, кроме той, которую собирались поставить карфагеняне на общественный счет.

шестеркою колесниц! Что же еще отделяет меня от высшей точки почета, от величайших вершин славы? Что, спрашиваю я вас, отделяет меня от них?! Эмилиан Страбон, бывший консул, а в ближайшем будущем – проконсул в соответствии с желанием всего народа ⁸⁶, внес в сенат Карфаге на предложение об оказании мне почестей, и все присоединились к его мнению. Разве вы не видите в этом сенатского постановления? Нельзя упускать из виду и следующего. Все карфагеняне, заседавшие в том достопочтеннейшем совете, с такой готовностью вынесли решение о предоставлении места для статуи, что каждый, я надеюсь, подумал, вероятно, так: лишь потому они перенесли обсуждение вопроса о другой статуе на следующее заседание сената, что, из чувства глубочайшего уважения и глубочайшего почтения к своему бывшему консулу, пожелали оказаться в положении не соперников его, а последователей, то есть в специально выбранный для этой цели день облагодетельствовать Апулея от имени города. Впрочем, наши превосходные чиновники и благосклонные властители помнили, что поручение, которое вы им дали, совпадает с их собственным желанием. И мне знать об этом, но не решиться заявить во весь голос? Да я стал бы образцом неблагодарности! Нет, напротив, ко всему сенату вашему за все, что он сделал для меня, я питаю самую горячую признательность, какая только возможна, и громко

⁸⁶ Исполнилось ли это льстивое пророчество, неизвестно. С симпатиями же и антипатиями населения провинции власти в Риме нисколько не считались.

выражаю свою благодарность вам, встретившим меня в этой курии ⁸⁷ почетными возгласами приветствия – в той самой курии, которая даже простым упоминанием о человеке возносит его на вершину почета.

Итак, того, что трудно достижимо, того, что на самом деле, а не только во мнениях людей требует тяжелых и длительных усилий – любви народа, благосклонности сената, одобрения властей и первых лиц города – всего этого (могу сказать, не хвастаясь) я уже в какой-то мере добился. Чего еще не достает той статуе, которую хотят меня почтить? Только цены бронзы и работы художника! И то и другое всегда удавалось найти для меня даже городам среднего разряда, пусть же удастся это и Карфагену, где блистательнейший сенат даже в случаях более важных предпочитает обыкновенно выносить решения, а не заниматься подсчетами. Но об этом тогда я скажу подробнее, когда вы будете ближе к выполнению своих обещаний ⁸⁸. И я намерен даже, благородные сенаторы, славные сограждане, достойные друзья, написать в ближайшее время, ко дню посвящения мне статуи, книгу, чтобы пространнее возвестить о моей признательности; пусть пройдет эта книга по всем провинциям и пусть отныне и во веки во всем мире и во все времена разносит она славу о ва-

⁸⁷ См. прим. 5 к кн. X «Метаморфоз». Слова «в этой курии» показывают, что Апулей произносит свою речь перед карфагенскими сенаторами; их-то и именует он пышным титулом «величайшие мужи Африки» (см. начало отрывка).

⁸⁸ Непереводимая игра слов. В оригинале: *sed de hoc I um ego perfectius, cum vos effectius.*

шем благодеянии среди всех народов земли...

XVII.

Пусть уж те, у кого вошло в обычай в часы досуга наместников надоедать им своим присутствием, дают полную волю языку, в надежде блеснуть талантами, и хвастаются видимостью дружбы с вами. И то и другое совершенно чуждо мне, Сципион Орфит ⁸⁹. Ведь мой талант, как бы скромн он ни был, уже давно известен людям – в тех пределах, которые соответствуют его заслугам, – и в новых поощрениях не нуждается, а благосклонность твою и тех, кто подобен тебе, я больше стараюсь снискать, чем выставить на показ, скорее мечтаю о твоей дружбе, чем хвастаюсь ею, потому что мечтать можно только искренне, а хвастаться любой может и лицемерно. К тому же с самого юного возраста я всегда был усерден в соблюдении добрых нравов; мой характер и занятия получили высокую оценку и в нашей провинции, и в Риме, среди твоих друзей, чему ты сам наиболее надежный свидетель; одним словом, у вас не меньше оснований с удовольствием принять мою дружбу, чем у меня – искать вашей. Да, потому что неохотно прощать человеку его редкие посещения – значит желать не расставаться с ним вовсе, и самое убедительное доказательство любви – это если ты радуешься частым свиданиям с другом, сердисься, когда он запазды-

⁸⁹ Сципион Орфит был наместником Африки либо в 162/163, либо в 163/164 году.

вает, хвалишь его постоянство, тоскуешь, когда он покинул тебя. Иначе и быть не может: нам приятно присутствие того, чье отсутствие огорчает нас.

Впрочем, язык, осужденный на вечное молчание, приносит не больше пользы, чем ноздри, постоянно страдающие насморком, уши, забитые грязью, глаза, затянутые бельмом. Что пользы от рук, которые закованы в кандалы, от ног, которые стиснуты колодками? Что пользы от духа, управляющего нашими поступками, если он ослаблен сном, затуманен вином, подавлен недугом? Конечно, от употребления меч начинает блестеть, а оставшись без дела, ржавеет; точно так же и слово: спрятанное в ножны молчания, оно слабеет от длительного оцепенения. Прекращение деятельности всегда приводит за собой вялость, а за вялостью идет дряхлость. Если, например, трагические актеры не упражняются ежедневно в декламации, их голос теряет звучность; поэтому, охрипнув, они прочищают горло криком.

Впрочем, развивать этот человеческий голос – напрасный труд, пустая трата времени, слишком уж он несовершенен во многих отношениях. Ведь человеческому голосу недоступны ни грозный рев трубы, ни гармоническое богатство лиры, ни трогательная жалоба флейты, ни милый шепот свирели, ни далеко разносящиеся сигналы рога. Я уж не говорю о многих животных, чей безыскусственный крик вызывает восхищение своим разнообразием; например, важное мычание волов, пронзительный вой волков, печальный слоновий

рев, веселое ржание скакунов, а к тому же и птиц возмущенный крик, и львов негодующий рык ⁹⁰, и все остальные звуки того же рода, угрожающие и мирные, которые исторгает из глоток живых существ жестокая ярость или радостное наслаждение.

Вместо всего этого человеку дан свыше голос, который, правда, не столь могуч, как у зверей, но зато доставляет больше пользы уму, чем наслаждения уху. Поэтому применять его следует как можно чаще, но – только в публичных выступлениях, при таком председателе, как ты, при таком блистательном и огромном стечении людей образованных, людей благосклонных, как сегодня. Что касается меня, то будь я величайшим мастером игры на кифаре, я искал бы только самых многолюдных мест. В уединении пели

В чаще густой, среди леса Орфей, Арион меж дельфинов
⁹¹,

если только можно верить преданиям, рассказывающим, будто изгнанник Орфей ⁹² оказался в полном одиночестве, Ариона же бросили с судна в море ⁹³, и первый сумел укро-

⁹⁰ В оригинале:...ut est taurorum gravis mugitus, luporum acutus ululatus, elephantorum tristis barritus, equorum hilaris hinnitus, nec non avium instigati clangores. nec non leonum, indignati fremores.

⁹¹ Вергилий, «Буколики», VIII, 56.

⁹² См. прим. 57 к кн. II «Метаморфоз».

⁹³ См. прим. 56 к кн. VI «Метаморфоз».

тить лютых зверей, а другой очаровал сострадательных животных. Несчастнейшие оба певцы! Ведь не по доброй воле и не славы ради напрягали они все свои силы, а по необходимости и ради спасения. Я был бы восхищен ими гораздо больше, если бы у людей, а не у зверей имели они успех. Во всяком случае, те уединенные места подошли бы скорее птицам – дрозду, соловью, лебедю. В пустынных краях щебечут дрозды свою детскую песенку; надежно укрытые от чужих взоров, высвистывают соловьи свою юношескую песнь; на недоступных речных берегах ⁹⁴ расппевают лебеди свой старческий гимн. Но тот, кто намеревается принести своей песней пользу и детям, и юношам, и старцам, пусть поет в окружении тысячных толп, так, как воспеваю я в эту минуту достоинства Орфита, – гимн, быть может, несколько запоздалый, но исполненный глубокого значения и не менее приятный, чем полезный для карфагенских детей, юношей и старцев. Да, потому что всех их облагодетельствовал своими милостями лучший из проконсулов: сделав потребности более скромными и умеренно применяя горькие лекарства, он даровал детям довольство, юношам веселье, старцам безопасность.

Я опасаясь, однако, Сципион, как бы теперь, когда я начинаю восхвалять тебя, не преградила мне путь либо твоя благородная скромность, либо моя врожденная застенчивость. Но я не могу сдержатъ себя при мысли о тех бесчисленных

⁹⁴ В оригинале красивое созвучие: *apud avios fluvios*.

добродетелях, которые вполне заслуженно восхищают всех нас, не могу сдержать себя и коснусь хоть нескольких из них. Вы же, граждане, обязанные ему столь многим, припоминайте вместе со мной ⁹⁵.

⁹⁵ Здесь заканчивается в рукописях третья книга «Флорид».

XVIII.

Видя, в каком огромном количестве вы собрались послушать меня, я должен, пожалуй, скорее поздравить Карфаген, насчитывающий такое множество друзей науки, чем пытаться оправдать свое согласие – согласие философа – выступить публично ⁹⁶. В самом деле, величие города объясняет многолюдность собрания, а значительность собрания объясняет выбор места. Кроме того, стоя перед такими слушателями, как вы, следует обращать внимание не на мраморную мозаику пола, не на устройство просцениума ⁹⁷, не на колонны сцены; не смотри, что так высоко кровли конек, что блестящею отделкой разукрашен потолок, что скамейки в амфитеатре кругом идут; неважно, что в другие дни здесь мим ⁹⁸ гримасничает, комик болтает, трагик восклицает, канатоходец шею себе едва не ломает, фокусник пыль в глаза пускает, актер слова жестом сопровождает и все остальные артисты показывают народу, кто что умеет. Так вот, всеми этими обстоятельствами следует пренебречь и обратить все внимание

⁹⁶ Апулей выступает в городском театре Карфагена, перед очень большой аудиторией, а не в узком кругу немногих избранных, как подобало бы философу. Ср. «Флориды», VII.

⁹⁷ См. прим. 4 к кн. III «Метаморфоз».

⁹⁸ Мим – один из жанров античного театра (бытовые и пародийно-сатирические сценки, пьесы с острым авантюрным сюжетом и т. д.). Так же назывались и актеры – исполнители мимов.

на образ мыслей собравшихся и выступление оратора ⁹⁹.

Поэты обыкновенно подменяют эту сцену, которую вы видите перед собой, тем или иным городом, как, например, тот автор трагедий ¹⁰⁰, который говорит устами актера:

Вот Киферон священный ¹⁰¹, Либер здесь живет.

Или еще у комического поэта:

Ничтожного местечка просит Плавт у вас
В большом и красотою гордом городе:
Афины он сюда без архитектора
Перенесет ¹⁰².

Вот и мне разрешите заменить ее, но не каким-нибудь отдаленным заморским городом, а курией самого Карфагена или его библиотекой. Итак, если я произнесу нечто достойное курии, представьте себе, что вы слушаете меня в самой курии, а если речь будет отличаться ученостью, – что вы читаете ее в библиотеке. Пусть же изобилие моего красноречия окажется достойным величия этого собрания, и да не изменит оно мне здесь, где я мечтал бы обнаружить дарование

⁹⁹ В оригинале игра слов: *convenientium ratio et dicentis oratio*

¹⁰⁰ Кого здесь имеет в виду Апулей, неизвестно.

¹⁰¹ Гора на границе между Беотией и Аттикой, где часто справлялись оргия в честь Диониса (Либеры).

¹⁰² Плавт, «Грубиян» (*Truculentus*), 1 ел. Перевод А. В. Артюшкова.

самого искусного из всех ораторов!

Но правы, конечно, те, кто утверждает: никогда не выпадает свыше на долю человека такая удача, чтобы не было к ней примешано чего-то неприятного, так что и в самой полной радости есть какая-то, пусть даже очень незначительная, неудовлетворенность, и мед каким-то образом смешивается с желчью: нет розы без шипов ¹⁰³. Я сам неоднократно испытывал это прежде, испытываю и сейчас: чем большими представляются мне ваши благосклонность и одобрение, тем сильнее величайшее уважение к вам сковывает мне язык. И это я, тот самый человек, что столько раз выступал без малейшего затруднения в чужих городах, теперь, среди своих сограждан колеблюсь и запинаясь, и – удивительное дело! – сами соблазны отпугивают меня, поощрения сдерживают, побуждения останавливают! Разве мало у меня поводов к тому, чтобы чувствовать себя уверенно среди вас? Ведь мой родной дом стоит на вашей земле, детские годы знакомы вам, учителя – ваши сограждане, философская школа известна, голос мой вы слышали, книги читали и по заслугам оценили. Да! Моя родина там, где заседает собрание Африки, то есть – ваше собрание, мое детство прошло среди вас, учителя мои – вы, и мои философские взгляды хоть и сложились окончательно в аттических Афинах, но наметились они здесь, мой

¹⁰³ В оригинале поговорка: ubi iber, ibi tuber. Буквально: где грудь, там и желвак (по-видимому, намек на грудницу, которой иногда страдают кормящие матери).

голос, говорящий на обоих языках ¹⁰⁴, вот уже шестой год как звучит в ваших ушах и хорошо вам известен, а что касается моих книг, то никакая похвала ни в каком ином месте не может быть для них дороже, чем ваше суждение и одобрение. Эти столь крепкие и многочисленные узы взаимных связей влекут вас послушать меня в той же мере, в какой уменьшают мою уверенность в себе, и мне было бы легче произнести похвальное слово в вашу честь в любом другом городе, чем стоя перед вами: так уж устроены люди, что в окружении близких по вине скромности исчезает решительность, а в окружении чужих людей истина легко и свободно находит свое выражение. Поэтому всегда и повсюду я прославляю вас как моих родителей и первых наставников, вручая вам плату за учение, но не ту, которую софист Протагор ¹⁰⁵, назначивши, не получил, а ту, которую мудрец Фалес ¹⁰⁶ получил, не назначая. Да, я вижу, о чем вы просите – сейчас расскажу и о том, и о другом.

Софист Протагор, человек обширных и разносторонних знаний, отличавшийся среди первых изобретателей ритори-

¹⁰⁴ Т. е. по-латыни и по-гречески.

¹⁰⁵ Протагор (около 480 – около 410 гг. до н. э.) – крупнейший из греческих софистов, родом из Абдеры (во Фракии). Ему принадлежит знаменитый тезис: относительно каждого предмета можно высказать два противоположных суждения и доказать истинность любого из них.

¹⁰⁶ Фалес Милетский (639 – 546 гг. до н. э.) – великий греческий философ и естествоиспытатель, основатель милетской школы. Имя его было синонимом мудреца вообще.

ки своим красноречием, согражданин и сверстник естествоиспытателя Демокрита ¹⁰⁷ – у него-то и заимствовал Протагор все свое учение целиком – этот-то самый Протагор, как рассказывают, назначил своему ученику Эватлу плату за учение непомерно высокую, правда, но с одним необдуман-ным условием: Эватл лишь в том случае обязывался уплатить деньги учителю, если выиграет свое первое дело в суде. Итак, Эватл, человек от природы изворотливый и хитрый, с легкостью изучив все способы вызывать у людей жалость, все ловушки, которые противные стороны ставят друг другу, все словесные уловки, решает, что с него достаточно, что он уже знает все, что хотел знать, и начинает уклоняться от выполнения договора, ловко придумывает отсрочку за отсрочкой, водит учителя за нос, не соглашаясь в течение довольно долгого времени ни взять на себя ведение дела, ни уплатить долг. Наконец, Протагор вызвал его в суд и, рассказав об условии, на котором он принял Эватла в число своих учеников, сделал вывод в форме дилеммы: «Если я выиграю, – сказал он, – тебе придется отдать мне плату по приговору суда, а если выиграешь ты, все равно придется тебе расплачиваться – в соответствии с нашим договором: ведь тогда окажется, что ты выиграл свое первое дело в суде. Таким образом, выиграв, ты попадаешь под действие условия, проиграв, – под действие приговора». Стоит ли говорить, что сде-

¹⁰⁷ Философ-материалист, атомист Демокрит (около 475 – 361 гг. до н. э.) был также родом из Абдеры.

ланное умозаключение показалось судьям убедительным и неопровержимым? Но Эватл – недаром он был лучшим учеником такого небывалого хитреца! – вывернул наизнанку эту дилемму. «Если так, – заявил он, – то ни в том, ни в другом случае я не должен тебе того, что ты требуешь. В самом деле, либо я выигрываю, и тогда решение судей освобождает меня от всех обязательств, либо проигрываю, и тогда моя правота устанавливается на основании договора, где говорится, что я не должен ничего платить, если проиграю свое первое дело в суде, то есть – наше сегодняшнее дело. Итак, в любом случае я буду оправдан: проиграв – нашим условием, выиграв – судебным определением» Не кажется ли вам, что эти обращенные одно против другого доказательства софистов напоминают колючки, сцепившиеся в комок от ветра: с обеих сторон шипы равной остроты, одинаковой глубины уколы, обоюдонаносимые раны? Оставим же вознаграждение за протагорову науку, со столькими трудностями, со столькими терниями сопряженное, людям изворотливым и алчным. Насколько прекраснее другое вознаграждение – то, что попросил, как рассказывают, для себя Фалес.

Фалес Милетский, один из тех знаменитых семи мудрецов¹⁰⁸ и, несомненно, самый великий среди них – ведь это он был у греков первым изобретателем геометрии, самым

¹⁰⁸ Семь знаменитых мужей древности (Питтак, Солон, Клеобул, Периандр, Хейлон, Фалес и Биант) – законодатели, военачальники, философы, которых греки чтили как образцы мудрости.

опытным испытателем природы, самым знающим наблюдателем светил, – проводя маленькие черточки, делал великие открытия: он изучал смены времен года, ветров дуновения, планет движения; грома дивное грохотание, звезд по кругам своим блуждания, солнца ежегодные обращения, а также луну – как она прибывает, родившись, как убывает, старея, и почему исчезает, затмившись. Так вот, этот самый Фалес уже в глубокой старости создал свое божественное учение о солнце, устанавливающее соотношение между размерами солнца и длиною окружности, которую оно описывает. (Я не только знаком с этим учением, но даже подтвердил правильность его своими собственными опытами). Говорят, что вскорости же после своего открытия Фалес рассказал о нем Мандраиту из Приены ¹⁰⁹. Тот, придя в восторг от этой новой и неожиданной истины, предложил Фалесу просить любое вознаграждение за такой замечательный урок. «Для меня будет достаточным вознаграждением, – ответил мудрый Фалес, – если, пожелав сообщить кому бы то ни было о том, чему ты у меня выучился, ты не станешь приписывать этого открытия себе, но заявишь во всеуслышание, что оно сделано мною, и никем иным». Прекрасное вознаграждение, несомненно, достойное такого мужа и непреходящее! Да, потому что и по сей день и впредь во все времена Фалес получал и будет получать от нас – всех тех, кто действительно знакомится с его трудами, – это вознаграждение за свои исследо-

¹⁰⁹ Приена – древний город в Карий (юго-западная часть Малой Азии).

вания небесных явлений.

Таким именно вознаграждением повсюду расплачиваюсь я с вами, карфагеняне, за воспитание и наставления, которые я получил от вас в детстве. Везде я объявляю себя питомцем вашего города, везде прославляю вас всеми средствами; ваши науки изучаю я с особенным рвением, ваше могущество превозношу с особенным воодушевлением, ваших богов почитаю с особенным благоговением. Вот почему и сегодня, обращая свою речь к вашему слуху, я считаю самым благоприятным началом для нее слово об Эскулапе, божественная воля которого благосклонно и открыто охраняет твердыню нашего Карфагена ¹¹⁰. Я исполню для вас гимн в честь этого бога, написанный латинскими и греческими стихами и посвященный мною ему. Ведь меня нельзя назвать безвестным его служителем или новым почитателем, или неблагодарным жрецом, нет, я смиренно приносил уже ему в дар и прозу и стихи свои. И сегодня я исполню в честь его гимн на обоих языках, присоединив к нему в виде вступления диалог – тоже по-гречески и по-латыни Собеседниками в этом диалоге будут Сабидий Север и Юлий Персии, питающие заслуженную и горячую любовь и друг к другу, и к вам, и к обществу благу, одинаково отличающиеся ученостью, красноречием и доброжелательством, так что даже трудно ска-

¹¹⁰ Эскулап, бог-покровитель Карфагена, высоко почитался и в других городах Африки (ср. «Апология», гл. 55). Возможно, это связано с тем, что с Эскулапом был отождествлен Эшмун – древнее карфагенское (финикийское) божество.

зять, что в них особенно замечательно – скромная уравновешенность, ревностное трудолюбие или принесенная почетными должностями слава. Ничто не нарушает единодушия этих двух людей, и есть лишь один вопрос, который рождает у них споры и соперничество, – кто из них больше любит Карфаген; в эту борьбу оба вкладывают все свои силы, и ни тот, ни другой не терпит поражения. Полагая, что разговор между ними и вашему слуху приятен будет, и мне, как тема сочинения, подойдет, и богу благочестивым подношением послужит, я начинаю свою книгу с того, что один из моих старых товарищей по занятиям в Афинах расспрашиваем Персия по-гречески, о чем я говорил накануне в храме Асклепия. Постепенно в разговор вступает Север, которому я поручил вести беседу на языке римлян. А Персии, хоть и он тоже превосходно знает латинский язык, сегодня все же будет говорить перед вами на аттическом наречии.

XIX.

Знаменитый Асклепиад ¹¹¹ был одним из самых выдающихся врачей и, не считая одного только Гиппократы, превосходил всех остальных. Он был первым, кто начал применять вино для лечения больных, но, разумеется, давал это лекарство в нужный момент, определяя его с большой точностью благодаря той внимательности, с которой наблюдал за пульсом, его неправильностями и перебоями. Так вот, однажды, возвращаясь домой из своего загородного поместья, заметил Асклепиад вблизи городских стен пышный катафалк и множество людей, которые пришли на похороны и теперь огромной толпой стояли вокруг, все такие печальные, в поношенной, грязной одежде ¹¹². Врач подошел поближе, чтобы, по свойственному человеку любопытству, узнать, кого хоронят, так как на все свои вопросы не получал никакого ответа, а может быть, и для того, чтобы посмотреть, нельзя ли извлечь из этого случая чего-нибудь полезного для своих занятий. Но, право же, сама судьба ниспослала его человеку, лежавшему на погребальных носилках и разве что только не сожженному. Уже все члены этого несчастного были осыпа-

¹¹¹ Асклепиад из Прусы (в Малой Азии) – известный греческий врач, работавший в начале I в. до н. э. в Риме.

¹¹² Это было знаком траура.

ны благовоньями ¹¹³, уже лицо его смазали душистой мазью, уже омыли и умастили труп и почти закончили все приготовления, когда Асклепиад, осмотрев его и внимательно отметив некоторые симптомы, снова и снова ощупывает тело человека и обнаруживает, что в нем теплится жизнь. Немедленно он восклицает: «Этот человек жив! Гоните же прочь факелы, прочь огни уберите, костер разберите, поминальные яства с могильного холма на стол перенесите» ¹¹⁴. Тем временем поднялся говор, одни утверждали, что на этого врача можно положиться, другие вообще насмехались над медициной. Наконец, несмотря на протесты близких, которые, вероятно, не хотели упускать наследства из рук или, может быть, все еще никак не могли поверить Асклепиаду, врачу удалось добиться для мертвого краткой отсрочки и, вырвав его, таким образом, из рук могильщиков ¹¹⁵ и словно вернув из преисподней, доставить снова домой. Тут он немедленно восстановил ему дыхание и, с помощью каких-то лекарств, немедленно вернул к жизни душу, скрывавшуюся в тайни-

¹¹³ Труп осыпали сухими благовоньями (миррой и другими) и душистыми травами, чтобы отбить запах тления. Ср. «Апология», гл. 32.

¹¹⁴ В оригинале: *procul igitur faces abigerent, procul ignes amolirentur, rogom demolirentur, cenam feralem a tumulo ad mensam referrent.*

¹¹⁵ *Vispillonum*. Ученые по-разному истолковывают значение этого слова. Одни считают, что под ним следует понимать осквернителей могил, которые грабят трупы, снимая с них одежду (*vestis* – одежда, *pilare* – снимать покров). Другие производят его от слова *vesper* (вечер) и считают, что так называлась похоронная прислуга, хоронившая после наступления темноты умерших бедняков.

ках тела.

XX.

Один мудрец ¹¹⁶, ведя беседу за столом, произнес слова, ставшие знаменитыми: «Первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, четвертая – безумию». Но о чашах Муз должно сказать наоборот: чем чаще следуют они одна за другой, чем меньше воды подмешано в вино ¹¹⁷, тем больше пользы для здоровья духа. Первая – чаша учителя чтения – закладывает основы, вторая – чаша филолога – оснащает знаниями, третья – чаша риторика – вооружает красноречием. Большинство не идет дальше этих трех кубков. Но я пил в Афинах и из иных чаш: из чаши поэтического вымысла, из светлой чаши геометрии, из терпкой чаши диалектики ¹¹⁸, но в особенности из чаши всеохватывающей философии – этой бездонной нектарной чаши. И в самом деле: Эмпедокл ¹¹⁹ создавал поэмы, Платон – диалоги, Сократ – гимны, Эпихарм ¹²⁰ – музыку, Ксенофонт – исторические

¹¹⁶ Диоген Лаэртский (I, 103) вкладывает эти слова в уста мудрому скифу Анахарсису.

¹¹⁷ См прим. 31 к кн. II «Метаморфоз».

¹¹⁸ Диалектикой у древних называлось искусство вести спор, вскрывая противоречия в речах противника.

¹¹⁹ Об Остане нам почти ничего не известно. Лексикограф Свида считает даже, что «остан» – имя нарицательное.

¹²⁰ Эпихарм (около 540 – 448 гг. до н. э.) родом с острова Коса – греческий комедиограф, один из крупнейших представителей сицилийской комедии.

сочинения, Кратет – сатиры, а ваш Апулей пробует свои силы во всех этих формах и с одинаковым усердием трудится на ниве каждой из девяти Муз, проявляя, разумеется, больше рвения, чем умения, но, может быть, именно этим в наибольшей мере заслуживая похвалы. Ведь во всяком порядочном деле похвально стремление, а успех – во власти случая, равно как в преступных занятиях, в свою очередь, караются даже злодейские замыслы, которым не удалось осуществиться: если руки и остались чисты, то разум все-таки запятнан кровью. Стало быть, как для наказания достаточно помышлять о том, что наказуемо, так точно и для похвалы достаточно стремиться к тому, что приносит славу. А что может стяжать славу более великую или более верную, чем похвальное слово Карфагену, вашему городу, где каждый житель – человек высокообразованный, где все науки нашли себе место: дети изучают их, молодежь украшена ими, старики обучают им О, Карфаген, досточтимый наставник нашей провинции, Карфаген, небесная Муза Африки, Карфаген, Камена ¹²¹ облаченного в тогу народа ¹²²!

¹²¹ Камена – латинское название Музы.

¹²² Тога – национальная одежда римлян, которые даже называли себя gens togata (народ, облаченный в тогу).

XXI.

Случается так, что даже не терпящая никаких отлагательств поспешность находит благовидный предлог для задержки, и нередко радуешься препятствиям на пути собственных намерений. Вот, например, путешественники, которым нужно поскорее добраться до места: они предпочитают скакать верхом, а не сидеть в повозке, чтобы не связываться с обременительной поклажей, неуклюжими телегами, неторопливыми колесами, ухабистыми дорогами; прибавь сюда еще груды камней, выступы корней, ручьи среди лугов, склоны холмов ¹²³. Ну так вот, стараясь избежать всего этого, они выбирают себе верхового коня, неутомимого и резвого, способного и везти много, и бежать быстро, который

Шагом единым холмы и долины легко покрывает,

как говорит Луцилий ¹²⁴. И все же, если в то самое время, когда, оседлав такого коня, они несутся во весь опор по дороге, повстречается им кто-нибудь из лиц высокопоставлен-

¹²³ В оригинале: *adde et lapidum globas, et caudicum toras, et camporum rivas, et collium clivos.*

¹²⁴ Гай Луцилий (около 180 – 102 гг. до н. э.) – основоположник литературного жанра сатиры.

ных, человек знатного рода, влиятельный, знаменитый, то, как бы они ни спешили, все же из почтения к нему они умерят бег, замедлят шаг, остановят коня и спрыгнут немедленно на землю. Прут, который они взяли с собой, чтобы погнать коня, этот хлыст они переложат в левую руку и, освободив таким образом правую, подойдут поближе и поздороваются ¹²⁵. Затем, сколько бы ни продолжалась их беседа, они будут идти рядом и отвечать на все вопросы. Одним словом, любую задержку они воспримут как должное, без всякого недовольствия.

¹²⁵ В знак приветствия римляне подносили правую руку к голове или протягивали ее вперед ладонью вниз.

XXII.

Кратета, этого знаменитого последователя Диогена, его современники в Афинах чтили словно домашнего духа-хранителя. Не было ни одного дома, который был бы заперт для него; не было у главы семейства такой сокровенной тайны, в которую не был бы своевременно посвящен Кратет; во всех тяжбах и ссорах между родичами он бывал посредником и судьей. Рассказывают про Геркулеса поэты, будто некогда мужеством своим он смирил ужасных чудовищ в человеческом и зверином образе и очистил от них землю. Подобным образом, в борьбе против гнева и ненависти, алчности и похоти, а также и остальных чудовищ и позорных пятен духа человеческого таким Геркулесом был Кратет. Все эти страшные язвы он изгнал из умов, очистил от них семьи, укротил пороки. Полунагой, как и Геркулес, и, подобно ему, среди всех выделявшийся своей дубинкой ¹²⁶, он даже родом был из Фив, откуда, как говорит предание, происходил Геркулес.

Но прежде чем стать настоящим Кратетом, он числился среди первых фиванских граждан как человек знатного рода, владелец многочисленной челяди, украшенного просторным вестибулом ¹²⁷ дома, прекрасной одежды, прекрасных поме-

¹²⁶ См. «Апология», 22, где дубина Геркулеса также сравнивается с посохом философа.

¹²⁷ Вестибул (vestibulum) – часть римского дома. Это была площадка, ограни-

ствий. Позже, когда он понял, что наследственное имущество не может служить ему никакой защитой, никакой опорой в жизни, что все преходяще и непрочно, что все богатства, сколько ни есть их под небом, все они, вместе взятые, ни-сколько не помогают жить счастливо...

ченная с двух сторон стенами флигелей, выстроенных справа и слева от входной двери, а сзади передним фасадом здания, или же – только стенами самого здания со всех сторон (когда дверь несколько вдавалась в дом). Во времена империи над вестибулом нередко воздвигали портик.

XXIII.

Вот вам, например, прекрасный корабль, умело построенный, надежно сбитый изнутри, искусно украшенный снаружи, с послушным кормилом, крепкими канатами, высокою мачтою, превосходным топом ¹²⁸, великолепными парусами, снабженный, наконец, всем, что полезно в плавании и приятно для взора; но если этим кораблем не правит кормчий или если правит им буря, с какою легкостью, вместе со всем своим замечательным снаряжением, исчезнет он, поглощенный пучиною, или разобьется о скалы!

Или вот еще врачи, которые приходят навестить больного. Ни один из них не обнадеживает его на том основании, что видит в доме комнаты, увешанные красивыми картинами, штучные потолки ¹²⁹, обитые золотом, мальчиков и юношей прекрасной наружности, толпою стоящих в спальне вокруг ложа. Нет, врач, как только сядет рядом с больным, берет его руку, осматривает ее, нащупывает пульс и определяет силу его биения, и если обнаружит какие-нибудь перебои или неправильности, объявляет больному, что недуг его не из легких. Богач выслушивает запрещение принимать пищу, и в тот день не получает в своем собственном доме, где все

¹²⁸ См. прим. 54 к кн. XI «Метаморфоз».

¹²⁹ См. прим. 2 к кн. V «Метаморфоз».

дышит изобилием, ни крошки хлеба, в то время как вся его челядь пирует и веселится; его высокое положение ничем не может помочь ему в этом случае.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Апулей

II век н. э. принято характеризовать в современной исторической науке как «эпоху временной стабилизации империи»; общепринятый прежде термин «золотой век Антонинов» подвергся строгому пересмотру и вполне обоснованной критике, так как даже в течение этого века, сравнительно спокойного в области внешней политики, внутренний процесс распада и перерождения античного рабовладельческого строя неудержимо шел вперед. Однако было бы несправедливо отрицать, что время правления Антонинов все же представляло собой некоторое затишье между отшумевшими бурями эпохи Клавдиев и Флавиев и надвигающимся кризисом III века, едва не приведшим империю к полному крушению. Отсутствие внешних войн и быстрой смены правителей, все более тесные и оживленные сношения между восточной и западной частями империи дали возможность развиться новой своеобразной культуре, не носящей ярко выраженного национального характера, культуре синкретической и космополитической. Синкретизм охватывает все области умственной и духовной жизни: в философии начинают стираться резкие границы между школами; даже наибо-

лее далекие друг от друга стоики и эпикурейцы в области этики сближаются друг с другом, а с другой стороны, космология стоиков связывает их с идеализмом и эклектизмом Академии и неопифагорейства; более того, философия, как целое, начинает терять свой прежний рационалистический характер и метод и постепенно сливается с религиозно-мистическими учениями и культами, существовавшими искони, но не имевшими прежде ничего общего с философией, как таковой. В этот общий поток вовлекаются и литература и язык: границы между чисто-греческой и чисто-римской литературой стираются, так как римляне начинают писать по-гречески (напр., Элиан), а греки, египтяне, африканцы – по-латыни. Знание двух языков и свободное владение ими становится необходимым признаком образованности, а сама эта образованность становится все более широкой, но вместе с тем и все более поверхностной; с ней прекрасно уживаются самые нелепые суеверия, вера в магию, чудеса, превращения, призраки и демонические существа; отдельные писатели, как Лукиан, тщетно пытаются бороться против иррационализма, но и они не могут дать ничего, кроме скептического и иронического отношения ко всему существующему, не могут дать положительных идей и руководства в жизни и вынуждены уступить роль руководителей представителям самых различных культов, то фанатикам, то шарлатанам. Вся эта странная эпоха с ее сочетанием мистики и скептицизма, показного блеска и внутренней опустошенности, беспокой-

ных поисков чего-то лучшего и полного равнодушия к любому проявлению жестокости, подлости и разврата – вся она нигде не отразилась более ярко и всесторонне, чем в творчестве талантливого африканца Апулея.

Биографические сведения об Апулее почерпнуты в основном из его собственных произведений; однако год его рождения определяется и объективными данными; проконсулом Африки в 157/58 гг. был некий Клавдий Максим, который был председателем суда на процессе против Апулея по обвинению его в занятиях магией; из речи Апулея, произнесенной им на этом суде и носящей название «*Apologia sive pro se de magia liber*», видно, что Апулею в это время было 30 – 33 года; следовательно, он родился в двадцатых годах (принята дата 124/25 гг. н. э.), во время правления Адриана; расцвет его творчества падает на правление Антонина Пия; из имен еще нескольких проконсулов, упоминаемых в сборнике отрывков из его речей под названием «*Florida*» («Цветник»), можно заключить, что в семидесятых годах он был еще жив. Дальнейших дат его жизни мы не имеем.

Уроженец Мадавры, колониального города на границе Гетулии и Нумидии, Апулей был сыном крупного, довольно состоятельного чиновника, получил в юности хорошее образование и имел влечение к риторике и философии; начав изучение этих наук в своем родном городе, он завершил его в Карфагене, а когда, после смерти отца, он унаследовал некоторые средства, то употребил их на поездку в Афины,

где продолжал изучение философии, примкнув к школе платоников. Оттуда он направился в Рим, где, в совершенстве овладев латинским языком, стал выступать в суде; однако средств его на жизнь в Риме не хватало, он вернулся в Мадавру и некоторое время занимал там почетные должности в городском управлении; но страсть к путешествиям не покидала его и он отправился в Александрию. По дороге он тяжело заболел и был вынужден остановиться в городе Эе (теперь Триполи) для лечения; там произошел крутой поворот в его судьбе: он встретился со своим бывшим соучеником в Афинах, Понтианом, уроженцем Эй, и, поддавшись его уговорам, а может быть, соблазняемый спокойствием и достатком, женился на матери Понтиана, Пудентилле, состоятельной вдове; Пудентилле было за сорок лет, и Апулей, отзываясь о ней с большим уважением, нигде, однако, не говорит о браке по любви; именно этот брак и принес ему большие неприятности, так как родственники ее первого мужа, рассчитывавшие завладеть ее имуществом, обвинили Апулея в том, что он околдовал Пудентиллу, которая после смерти мужа долго отказывала всем, сватавшимся к ней. Процесс состоялся в городе Сабрате и кончился, по-видимому, полным оправданием Апулея, так как, судя по отрывкам его позднейших речей (в «Флоридах»), он избрал своим постоянным местом жительства Карфаген, где пользовался большим почетом и славой лучшего оратора и занимал должность верховного жреца. Еще при его жизни в честь его были постав-

лены в Карфагене две статуи (Флор., XVI).

Несмотря на то, что врагам Апулея не удалось погубить его, выдвинув против него обвинение в магии, – обвинение очень опасное, грозившее смертью, – за ним в позднейшие времена утвердилось слава мага, о чем свидетельствует Августин. По всей вероятности, этому способствовала не столько его «Апология», сколько его знаменитейшее произведение – «Метаморфозы» (или «Золотой осел»), в котором как фабула основного повествования, так и многие вставные новеллы все время вращаются вокруг мистико-магических тем.

Апулей был весьма высокого мнения о себе: явно не без удовольствия зачитывает он в начале «Апологии» (4) обвинительный акт по своему адресу, гласящий: «мы обвиняем перед тобой философа красивой наружности... столь же красноречиво изъясняющегося по-гречески, как и по-латыни»; и хотя он далее иронически опровергает эти обвинения, указывая на свои спутанные кудри и свое якобы безуспешное стремление к красноречию, но он в течение всей речи упорно подчеркивает свое прекрасное образование, широту своих интересов, и философских, и научных, свою воспитанность, умение одеваться, сочинять и декламировать стихи и не раз издевается над своим противником, Сицинием Эмилианом (братом первого мужа Пудентиллы), называя его «деревенщиной, тупицей» и т. п. В отрывках речей он тоже хвалится своей многосторонностью: он, по его словам, испил в Афинах из многих чаш, он вкусил прекрасный напи-

ток поэзии, чистый – геометрии, терпкий – диалектики и, наконец, нектар философии; но он не только воспринял все это, он научился и быть творцом во многих областях: «Эмпедокл создавал поэмы, Платон – диалоги, Сократ – гимны, Эпихарм – музыку, Ксенофонт – исторические сочинения, Кратет – сатиры: а ваш Апулей с одинаковым усердием трудится на ниве всех девяти Муз» (Флор., XX), – пишет Апулей, очевидно, считая это большим достоинством, хотя тут же с ложной скромностью прибавляет: «правда, он проявляет при этом больше рвения, чем умения». В «Апологии» он с таким же самодовольством говорит о своих естественно-научных и оптических изысканиях, но особенно настойчиво называет себя философом, погруженным в разрешение высших вопросов жизни и мироздания.

Достоверного изображения Апулея мы не имеем, но один медальон IV или V века, дошедший до нас с его именем, изображает его именно таким, каким его рисует обвинительный акт, цитируемый в «Апологии», – правильное, несколько женственное лицо, обрамленное длинными густыми локонами.

Произведения Апулея дошли до нас не полностью. По его словам, он писал по-гречески и по-латыни, но сохранились только следующие латинские сочинения: упомянутые уже «Апология» (в 103 главах), «Флориды» (23 отрывка из речей, избранных неизвестно кем и когда), роман «Метаморфозы» (в 11 книгах) и три философских трактата: «О Плато-

не и его учении» (изложение натурфилософии и этики Платона, довольно примитивное и поверхностное), «О божестве Сократа» (риторическое рассуждение о природе сократовского «дэмониона» и существовании демонов – промежуточных существ между богами и людьми) и «О мире» (популярное изложение трактата «Περὶ ἁδμῶν», приписываемого Аристотелю).

О не дошедших до нас сочинениях Апулея известно отчасти из его собственных упоминаний о них, отчасти из сочинений различных позднейших авторов. Эти сочинения можно разделить на несколько групп: 1) поэтические произведения (шуточные и любовные стихи, гимны, панегирик консулу Орфиту); 2) эпитомы по истории Рима (упоминаемые Присцианом); 3) речи (упоминаются самим Апулеем и Августином); 4) сочинения научного характера (о рыбах, о деревьях, о сельском хозяйстве, о медицине, астрономии, арифметике и музыке); 5) роман под названием «Гермагор» (о нем упоминают Присциан и Фульгенций). О потере этого последнего сочинения можно пожалеть, так как, несомненно, именно в этой области Апулей проявляет огромный и редкий талант. Во всем остальном, не исключая и стихов (образцы которых он приводит в «Апологии»), он не возвышается над уровнем обычного ритора, а свои философские знания он безусловно оценивает слишком высоко.

Философская ценность дошедших трех трактатов Апулея весьма невелика. «Апология» и «Флориды» свидетельству-

ют о хорошем знании риторики, об остроумии, ловкости и искусном владении языком, а также дают много интересного для знания быта того времени; но все эти произведения не доставили бы Апулею той прочной и широкой известности, которую он заслужил своим блестящим романом «Метаморфозы», единственным в своем роде.

Оба произведения Апулея, дошедшие до нас полностью, чрезвычайно интересны и несомненно заслуживают как с исторической, так и с литературной точки зрения еще большего внимания, чем то, которое уделялось им до сих пор. Хотя Апулей, почти единственный из писателей поздней эпохи, не может пожаловаться на то, что его предали забвению, но полного анализа его произведений, который бы раскрыл их историческую ценность и их литературную «фактуру», мы все же пока не имеем.

Хронологическое соотношение «Апологии» и «Метаморфоз» было не раз предметом разногласий исследователей: так как «Апология» почти точно датирована (см. выше) 50-ми годами II века, то вопрос заключался в помещении «Метаморфоз» раньше или позже «Апологии». Некоторые исследователи относили их ко времени пребывания Апулея в Риме, т. е. к его возрасту в 27 – 28 лет, другие считали, что «Метаморфозы» отнюдь не носят на себе печати юношеского произведения, а являются итогом большого жизненного опыта, переработанного острым умом и облеченного в утонченную, до мелочей продуманную форму. К этому, несколь-

ко абстрактному доводу присоединяется и то обстоятельство, что противники Апулея, на суде в Сабрате не преминули бы выдвинуть против него, обвиняемого именно в занятиях магией, сочиненную им книгу, свидетельствующую о детальнейшем знакомстве его с самыми разнообразными культами, магическими обрядами, поверьями и суевериями. Поэтому из двух различных гипотез о датировке «Метаморфоз» большую вероятность, безусловно, имеет вторая.

Композиция «Апологии» как речи, действительно произнесенной в суде, достаточно ясна и прозрачна, хотя несколько отклоняется от традиционной схемы. Конечно, едва ли можно думать, что она была произнесена именно в той стройной, полностью обработанной форме, в какой она была выпущена в свет; ведь сам Апулей говорит, что он имел на подготовку ее лишь четыре дня; однако «Апология» (особенно ее вторая часть) написана в общем довольно простым языком, мысли, выраженные в ней, не замаскированы излишне изощренной формой, – как это часто бывает в «Метаморфозах», – и одна тема четко отделена от другой. Отклонение от обычной схемы защитительной речи состоит в том, что «повествование» (*narratio*) целиком отнесено во вторую часть, а «опровержение» (*refutatio*) начинается непосредственно после зачитывания обвинительного акта, первые слова которого цитирует сам Апулей. Впрочем, «повествование» служит здесь не столько выяснению обстоятельств, подавших повод к обвинению, сколько для возве-

личения бескорыстия и добродетелей самого Апулея и для унижительных характеристик, которые он дает своим врагам. Вся «Апология», так сказать, пропитана, с одной стороны, иронией, иногда довольно наивной, иногда острой, с другой – самоуверенностью и бахвальством.

В первой части «Апологии» Апулей разбирает и разбивает по пунктам обвинения, предъявляемые ему. Некоторые из них совершенно нелепы, другие, напротив, могли быть опасны для него. К первым относятся несколько «косметических» обвинений: Апулей красиво причесан и одет, он чистит зубы, носит при себе небольшое зеркало и пишет любовные стихи. Много опаснее обвинение в занятиях анатомией рыб, рассечение которых, как и других животных, считалось необходимой принадлежностью магических обрядов. Наиболее опасными были обвинения в том, что Апулей приводил одного мальчика-раба в бессознательное состояние и использовал его для прорицаний и что он хранит в своем доме какие-то предметы тайных культов, пряча их от глаз посторонних. Все эти обвинения Апулей опровергает одно за другим, первые – подшучивая над своими противниками, «грубыми неучами», не понимающими того, что «философ», уважающий себя, должен выглядеть не хуже, а лучше других; все, что ставят ему в вину, просто – признак хорошо воспитанного человека. С некоторым презрением опровергает он также и обвинения в занятиях анатомией, ссылаясь на Аристотеля, Теофраста и на свои собственные сочи-

нения по естествознанию, которые, по-видимому, действительно существовали (см. выше о недошедших сочинениях). Мальчик-раб, по словам Апулея, и по описанию, данному им в «Апологии», страдал тяжелой формой эпилепсии. Наиболее же искусно опровергает Апулей обвинение в хранении магических предметов. Открыто сознавшись в своей причастности к многим *мистериям* (но не к *магическим* обрядам), он показал судьям статуэтку Гермеса, которая, по его словам, служит предметом его поклонения, как бы талисманом. Статуэтка эта, судя по описанию, высокой художественной ценности и притом изображающая одного из общепризнанных олимпийцев, конечно, не могла послужить доказательством виновности Апулея; были ли у него еще какие-нибудь «талисманы» – этот вопрос Апулей обходит.

Во всей, довольно длинной и многословной аргументации Апулея бросается в глаза то, чего, очевидно, не подметили его недостаточно изошренные обвинители, что обвинения в занятиях магией он, в сущности, даже не коснулся: он доказывает, что ни то, ни другое, ни третье занятие, которое ставят ему в вину – не магия; но занимается ли он действительно чем-нибудь сходным с магией, этот вопрос остается открытым в результате всей первой части речи, занимающей 65 глав.

Вторая часть, «повествование», посвящена истории его взаимоотношений с Пудентиллой и ее двумя сыновьями от первого мужа – Понтианом, к моменту суда уже умершим

после краткого, но неудачного брака с легкомысленной и распущенной дочерью некоего Руфина, тоже врага Апулея, и с Пудентом, своевольным подростком, попавшим в сети того же Руфина и враждебно настроенного и к матери, и к Апулею. От имени этого подростка и было сочинено его дядей и Руфином обвинение против Апулея. Эта часть «Апологии» в бытовом отношении очень интересна: интриги по завещаниям, семейные распри, перехваченные письма, подкупленные свидетели и их ложные показания, – вся эта картина написана Апулеем мастерски. Особенно удались ему портреты Руфина и его безнравственной семьи, а также пропойцы «из благородных», Красса (гл. 57 – 60). Апулей никогда не упускает случая подчеркнуть свое бескорыстие и философскую чистоту нравов, не раз прибегает к давно испытанному средству, «завоеванию благосклонности» (*captatio benevolentiae*) председателя суда, проконсула Клавдия Максима, которого он осыпает любезностями, восхваляя его образованность, наблюдательность, справедливость и тонкий ум. Если Клавдий Максим действительно был таким, как его изображает Апулей, то можно себе представить, какое художественное наслаждение доставила ему эта искусно построенная, но по существу ничего не доказывающая «Апология». Отвечала она, правда, на столь же недоказательные обвинения, – будто бы нужны магические заклинания, а не чисто-житейские соображения, чтобы сорокалетняя вдова вышла замуж за красивого образованного иностранца моложе себя на 10 – 15

лет, а он бы согласился на этот неравный брак из-за известных материальных выгод и спокойной жизни, которые этот брак предоставлял ему. По всей вероятности, это понимали даже и невежественные обвинители Апулея, огорченные тем, что имущество Пудентиллы уплывало из их рук. Таким образом, процесс в Сабрате был в известной степени театральным представлением, которое, однако могло кончиться для Апулея трагически; судя по его дальнейшей блестящей карьере, к счастью для него, оно закончилось так, как должна кончатся комедия, – вполне благополучно.

Значительный интерес для филолога и историка представляет сборник «Флориды». Предполагают, что первоначально он был значительно больше (рукописная традиция делит «Флориды» на 4 книги, тогда как объем сборника в том виде, в каком он сохранился до нашего времени, немногим превышает одну книгу) и состоял только из целых речей; впоследствии же какой-то поклонник таланта Апулея выбрал из этих речей наиболее понравившиеся ему места. Принцип отбора был, повидимому, чисто стилистическим, так как никакой смысловой связи между отрывками нет; мало того, иные из них не содержат даже законченной мысли и обрываются на полуслове. То, что объединяет их все, – это лишь поразительная изощренность и отточенность стиля, столь характерная для второй софистики вообще, а для Апулея – в особенности. Безошибочно угадывается представитель второй софистики и по содержанию сборника, ценность которо-

го далеко не исчерпывается заключенным в отрывках фактическим материалом: «Флориды» – зеркало общественных и литературных нравов той эпохи, ее идей, настроения и радостей.

Роман «Метаморфозы» более известен под названием «Золотой осел», которое впервые встречается у Августина (С. D. 18, 18). Эпитет «золотой» было принято прилагать к произведениям, имевшим большой успех (например, «Золотые слова» Пифагора – неопифагорейская нравоучительная поэма). Сложная фабула этого романа повествует о приключениях молодого грека Луция (в греческом произношении – Лукия), который из любопытства захотел испытать на себе действие чудесной мази, превратившей на его глазах хозяйку дома, где он жил, в сову. По ошибке служанки, помогавшей ему в этом рискованном предприятии и перепутавшей банки с мазями, он был превращен не в птицу, а в осла и в ту же ночь похищен разбойниками, напавшими на этот дом. Ему было известно, что он немедленно превратится в человека, как только поест свежих цветов розы, но прошел почти год, пока он после бесконечного ряда злоключений смог добиться этой спасительной пищи: из рук жреца Изиды он получает розовый веночек, вновь становится человеком и поклонником Изиды и Озириса на всю свою жизнь. Роман состоит из 11 книг и написан в первом лице. О чудесном спасении Лукия повествует последняя книга, сильно отличающаяся по характеру от остальных. Между тем как в первых

же словах книги I герой говорит о своем чисто-греческом происхождении из Пелопоннеса, в конце книги XI он оказывается уроженцем Мадавры, как сам Апулей, и едет в Рим, где становится судебным оратором – тоже черта биографии Апулея. Уже из этого было бы видно, что мы имеем перед собой контаминацию, даже если бы у нас не было достоверных данных, что Апулей не является первым творцом этой истории. Такие данные, однако, имеются: во-первых, в рукописях Лукиана находится повесть на греческом языке «Лукий, или осел», по основному ходу событий полностью совпадающая с «Метаморфозами», но более короткая и менее сложная, без побочных сюжетов, искусно вплетенных Апулеем в основное повествование, и без мистически окрашенного заключения; конец ее весьма фриволен, и хотя эта повесть считается не принадлежащей самому Лукиану, но она написана всецело в жанре его сатир. Однако не эта повесть, по-видимому, современная роману Апулея, явилась первоисточником романа; оба эти произведения восходят к одному и тому же предку, до нас не дошедшему, но подробно характеризованному в «Библиотеке» патриарха Фотия, который читал и этот прототип, автором которого был некий Лукий из Патр, и «Осла», автором которого он считает Лукиана; Фотий сопоставляет оба произведения, хвалит повесть Лукия из Патр за «ясный и чистый» язык, но отмечает, что автор ее верит в возможность магических превращений людей в животных и «во всякий прочий взор и чепуху из старых мифов», а Лу-

киан «издевается над греческими суевериями». Хотя Фотий говорит, что ему неизвестно, кто из двоих писателей жил раньше, кто позже, но ясно, что именно эта повесть Лукия из Патр явилась источником, обработанным и псевдо-Лукианом, и Апулеем в разной манере, причем, вероятно, роман Апулея ближе к первоисточнику, чем чисто-сатирический «Осел» псевдо-Лукиана. Сам Апулей говорит в первой главе I книги, что он «расскажет на милетский манер... греческую басню». И действительно, и герой, и место действия, и легенды, и поверья в его романе – всецело греческие; только язык латинский.

Композиция «Метаморфоз» чрезвычайно сложна: в основную фабулу вплетены двенадцать новелл, которые рассказывает то или иное действующее лицо; большинство их носит характер авантюрно-уголовный и в то же время эротический; прекрасным исключением является вошедшая в мировую литературу и в изобразительные искусства прославленная сказка об Амуре и Психее, которая вложена в уста старухи, охраняющей разбойничий притон и пытающейся развлечь сказкой захваченную разбойниками в плен красавицу Хариту. По своим размерам и по тонкой художественной обработке сказка эта мало согласуется с мрачной обстановкой притона и образом зловещей старухи, пособницы разбойников.

В основное действие тоже вплетено немало побочных эпизодов, как, например, встреча с драконом, превратившимся

в старика и заманившим одного из путников в свое логово (VIII, 18 – 21), повесть о трех благородных юношах, вступившихся за бедняка, притесняемого богачом (IX, 33 – 38), и другие. Пересказать хотя бы кратко бесконечно развертывающуюся пеструю ленту приключений молодого Лукия, – и в его человеческом, и в ослином образе, – немыслимо; можно только попытаться наметить те основные черты реальной исторической обстановки, которые отразились в этом своеобразном зеркале, а также характеризовать особенности самого зеркала – т. е. литературные задачи и приемы Апулея.

В «Апологии» Апулей уже имел возможность показать свое умение рисовать образы людей и давать их характеристики, несколько карикатурные, но все же достаточно ясные, чтобы представите себе тот круг провинциальных землевладельцев, в котором ему довелось жить. Фабула «Метаморфоз» дала ему возможность написать более широкое полотно. И хотя Апулей обещает только «порадовать слух читателя», т. е. позабавить его, на самом деле он бегло и живо рисует самые различные слои современного ему общества; он делает это без серьезной критики, без горячего сочувствия и жалости к тем, кто страдает, но и без восхваления тех, кто заставляет других страдать; несколько равнодушный юмор окрашивает все повествование. На первых же шагах (I, 24 – 25) герой романа, еще в образе человека, встречается на рынке со своим бывшим школьным товарищем Пифием, который за это время успел стать эдилом; Пифий так пылко

относится к своим «обязанностям», что под предлогом, будто Лукию продали рыбу на рынке слишком дорого, уничтожает не только запас рыбы у провинившегося торговца, но и рыбу, уже купленную Лукием. Так я лишился «благодаря остроумной выдумке моего энергичного товарища и денег, и ужина», – заканчивает с юмором свой рассказ Лукий. В образе осла Лукию приходится повидать и претерпеть немало: он голодает с бедным огородником, который вместе со своим ослом не имеет другой пищи, кроме переросших метелок латука; но нахальный римский легионер отнимает у этого бедняка даже осла и за сопротивление бросает огородника в тюрьму; осел должен вертеть жернова на мельнице, но не знает, чья участь хуже, его ли или тех рабов, которые работают вместе с ним и почти потеряли человеческий облик. Рабы играют большую роль во многих вводных новеллах, но никак нельзя сказать, чтобы Апулей изображал их с симпатией; он относится к ним свысока: их легко подкупить и подбить на злодейство, они лживы, вороваты и трусливы. О неслыханно жестоких пытках и казнях, отравителях и отравительницах Апулей повествует тем же ровным и спокойным тоном, иногда только от лица своего четвероногого героя выражая удивление человеческой злобе и подлости. Боги тоже не лучше людей: Венера перестает мучить и преследовать Психею только после того, как Юпитер запрещает ей это и велит узаконить и отпраздновать брак ее сына с земной девушкой. Все люди, и мужчины, и женщины, пад-

ки на любовные приключения, даже противоестественные. Лишь изредка на этом темном фоне выступают люди, любящие справедливость и способные рисковать из-за нее: таковы трое юношей в новелле в IX книге и благородный врач, разоблачивший то преступление, к которому пытались склонить его самого (X, 7 – 12). Самых ужасных мерзостей пришлось насмотреться бедному ослу, когда его купили евнухи – бродячие жрецы сирийской богини, о культе которой Апулей говорит с отвращением. По-видимому, он, являясь приверженцем египетских мистерий, был противником других, соперничающих с ними культов. В одной из его новелл о жене мельника, женщине злобной и развращенной, исследователи видят намек на враждебность Апулея к христианству, так как, по его словам, эта женщина утверждала, что она «чтит единого бога» (IX, 14); однако это не вполне доказательно, так как строгий монотеизм был учением скорее иудейских сект, которых именно в Египте было немало, о христианских же только ходили разные слухи, крайне противоречивые.

Отношение самого Апулея к вере в богов довольно загадочно: с одной стороны, он уже в «Апологии» говорит о своей религиозности, а XI книга «Метаморфоз» включает в себе описание явления богини из моря и лирические гимны к ней, полные подлинного религиозного пафоса, резко отличающиеся от равнодушной иронии обычного повествования; в романе не раз идет речь о предсказаниях, чудесах,

колдовстве; и если в рассказах о ведьмах, которые погубили некоего Сократа, вложив ему вместо сердца губку, и о колдуньях, которые отрезали нос и уши человеку, сторожившему покойника, звучит ирония, то в новелле о трех юношах, вплетенной в основное действие, страшные предзнаменования, предвещавшие отцу гибель всех трех сыновей, передаются Апулеем без всякой насмешки. Тем не менее в полной искренности Апулея даже по отношению к избранному им культу Изиды и Озириса можно сомневаться: пафос первых глав XI книги сменяется в ее конце (гл. 26 – 30) крайне двусмысленным рассказом о том, как жрецы египетских божеств заставили его, в лице героя его романа, проходить трижды обряд посвящения, каждый раз вытягивая из него немало денег; взамен этого «Озирис в собственном своем божественном виде» доставил ему, как судебному оратору, хорошую клиентуру в Риме и даже включил его в коллегии своих жрецов, но ему пришлось обрить голову, как было принято у египтян. Если вспомнить, что в своем «гимне красоте волос» (II, 8 – 9) Апулей говорит, что даже Венера «если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет», то последние слова романа (XI, 30) «теперь я хожу, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, радостно смотря в лица встречных» звучат явной иронией и над культом Изиды, и над самим собой.

Чем больше вчитываться в текст «Метаморфоз», тем эти ноты пародии, – не серьезной, продуманной, горькой сатиры,

как у Лукиана, а безобидной пародии и даже буффонады – звучат все яснее. Артистически пользуясь всеми средствами риторики, непрерывно играя всеми ее приемами и фигурами, Апулей особенно искусно умеет пародировать ее блестящие, но бессодержательные фокусы: такова, например, его длинная патетическая тирада о несправедливых судьях (X, 33) (ее декламирует осел сам себе по поводу театрального зрелища, изображающего суд Париса), о мощи любви (VIII, 2), вышеупомянутая «похвала волосам». Апулей пародирует и ссылки на мифы и на веру в мощь звезд; то он сопоставляет миф о полете Пегаса с прыжками испуганного осла: «может быть и пресловутый Пегас от страха сделался летучим... и, взлетая до самого неба, на самом деле... уклонялся от укусов огненной Химеры» (VIII, 16); то он иронизирует над мифом о замене Ифигении ланью (VIII, 26); то он заставляет оценщика осла говорить о гороскопе, составленном ученым астрологом для этого осла. Сцены на Олимпе в сказке об Амуре и Психее тоже пародируют гомеровский совет богов, внося в него современные черты: Юпитер жалуется на то, что Амур заставлял его не раз нарушать «Юлиев закон», начинает свою речь к богам с формулы обращения к римским сенаторам и упрекает Венеру в желании молодиться.

Но наиболее блестящие пародии на риторические декламации Апулей дает в речах действующих лиц, особенно в речах разбойников: «Фразилеон, честь и украшение шайки нашей, потерял свою жизнь, достойную бессмертия... Так по-

терян был для нас Фразилеон, но не потерян для славы» (IV, 21)... «Тут мы, почтив мужество великодушного вождя нашего, закутали старательно останки его тела полотняным плащом и предали на сокрытие морю. Ныне покоится Ламах наш, погребенный всей стихиею» (IV, II). Пародический характер речи подчеркивается еще и тем, что в нее введена явная несообразность: грабеж происходил в Фивах, где моря нет. Такой же пародией на «милостивый» судебный приговор является речь разбойника, предлагавшего не просто казнить пленную девушку за попытку к бегству, а зашить ее живой в брюхо убитого осла (VI, 31 – 32): «даруем же девице жизнь, но такую, какой она заслуживает», – патетически говорит он. Речи Тлеполема, жениха пленницы, выдающего себя за знаменитого разбойника и становящегося во главе шайки, полны пышных тирад (VII, 5 – 10): «Привет вам, клиенты бога сильнейшего, Марса, ставшие для меня уже верными соратниками... я отпрыск отца Ферона, ... вспоенный человеческой кровью, воспитанный на лоне шайки, наследник и соперник отцовской доблести... каменное это ваше жилище я превращу в золотое»; и сейчас же за этими торжественными фразами следует их антитеза в низком стиле: «я несколько не посрамил ни отцовской славы, ни своей доблести... хотя и пришлось натерпеться мне страху, видя прямо перед собою убийственные мечи, все же, скрывшись обманным образом под чужой одеждой, я сумел сколотить себе деньжонку на дорогу»; или «я прошу вас верить, что побуждает ме-

ня лишь забота о вашей пользе... Ведь я полагаю, что для разбойников, – для тех, по крайней мере, кто ясно понимает свое дело, – выше всего должна стоять прибыль, даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком». Даже для нас, не столь искушенных в тонкостях риторики, как современники Апулея, пародический характер этих «надгробных речей» и «суазорий» бросается в глаза; можно себе представить, какой успех они должны были иметь у тех, кто имел перед собой десятки пародируемых Апулеем образцов.

История, погубившая так много великих произведений античности, была милостива к Апулею, сохранив не только его философские трактаты, не имеющие большого значения, но и два его интереснейших сочинения, «Апологию» и «Метаморфозы», на многие века. «Золотого осла» читали даже церковные деятели, как, например, сохранивший для нас это название романа Августин. Апулей не только благополучно пережил враждебное языческим сказкам средневековье, но его повесть об Амуре и Психее была истолкована Фульгенцием (в V в.) в религиозно-мистическом духе, как святая любовь души к божеству. Уже в раннем Возрождении его эротические новеллы были использованы Боккаччо в «Декамероне»; в XVII в. к Амuru и Психее вернулся Лафонтен, в XVIII в. Богданович в своей поэме «Душенька». Изображения Амuru и Психеи в живописи и скульптуре едва ли можно пересчитать. Первым русским переводом «Золотого осла»,

сделанным Е. Костровым и напечатанным в 1780 г., в типографии Новикова, зачитывались сотни людей. Можно надеяться, что и наш читатель откликнется на слова Апулея в 1-й главе его романа: «Внимай, читатель, будешь доволен».

М. Е. Грабарь-Пассек

О языке и стиле Апулея

Вопрос о языке Апулея, по-видимому, уже перестал быть спорным. Вероятно, каждый согласится сейчас, что это латинский язык II в. н. э., тот же самый латинский язык, на котором писали Светоний, Фронто, Авл Геллий, а не особый африканский диалект латинского языка (как доказывали некоторые ученые XIX в.). Признавая существование африканской латыни, как особого диалекта народного разговорного языка, современная наука считает, что влияние этого диалекта на язык произведений Апулея крайне незначительно и что характерные особенности, отличающие Апулея и других писателей африканского происхождения, носят в огромном большинстве случаев стилистический характер. Стилль этот (его часто называют *tumor Africus* – «африканская напыщенность») есть одно из частных проявлений так называемой «второй софистики» – литературного движения той эпохи, захватившего и греческую и римскую литературы и стремившегося к созданию нового стиля. Вторая софистика эклектически смешала принципы двух основных греческих стилистических направлений прошлого – азианизма, тяготевшего к пышной, блестящей форме (зачастую лишенной содержания) и всевозможным новшествам, и аттицизма, ориентировавшегося на строгий и скупой, уже ставший в какой-то мере архаическим язык классиков аттической прозы.

Впрочем, следует отметить, что ведущая роль в этой смеси принадлежит азианизму: он был основой всего здания второй софистики. На римской почве в конце I и начале II в. н. э. процветали эпигоны и азианизма (традиции Сенеки) и атикизма (школа Фронтонна). Апулей учился и у тех и у других, равно как и у великих мастеров прошлого, и с уверенностью, свойственной лишь большому таланту, синтезировал архаистические тенденции Фронтонна со смелыми языковыми новшествами, пользовался богатствами поэтического языка и, не задумываясь, черпал из сокровищницы просторечья. И синтез оказался удачным, какой бы анафеме ни предавали «игривый и развратный» стиль Апулея ученые эпохи Возрождения и даже XIX века (так Эд. Норден¹³⁰ не сумел удержаться от жестокой брани и сильных эпитетов). Он оказался удачным потому, что живая жизнь II века н. э. была в нем ключом, что маленькому человеку времен империи стала чуждой возвышенная простота лучших писателей прошлого, а для великих под тиранической властью принцепса места не оставалось. И напротив: виртуозность словесного жонглера, его страстность и порывистость, безумная рачительность в средствах языка, даже причудливая пестрота и вульгарный подчас тон – все это импонировало подданным императора. Увлечение Апулеем современников и потомков, дальнейшее развитие и расцвет африканского стиля доказывают это достаточно убедительно. Вот маленький,

¹³⁰ «Die antike Kunstprosa», Bd. II. Leipzig. 1898, S. 600 – 405.

взятый вне связи с текстом отрывок: «...in fabulis audienda posuit, verum etiam in theatri spectanda proposuit, ubi crimina plura essent, quam nomina...» – «Да, это Апулей», – скажут те, кто читал в оригинале «Метаморфозы» или «Флориды», но они ошибутся: это не Апулей, а его враг и подражатель, крупнейший христианский писатель IV – V вв. Аврелий Августин, епископ Гиппонский (Ер. СXXXVIII, 19).

Не приводя примеров (читатель во множестве найдет их в примечаниях), укажем основные особенности апулеевского стиля.

1. Скопления и нагромождения синонимов и синонимических оборотов, направленные к созданию как можно более яркого и выпуклого описания или вызванные стремлением добиться максимальной красоты звучания. Отсюда многочисленные плеоназмы, нередко затрудняющие понимание.

2. Архаизмы как в лексике (обветшалые слова), так и в морфологии (вышедшие из употребления формы). Бывает, что торжественно звучащий архаизм употребляется в самом неподходящем контексте, что создает комический эффект.

3. Греческие заимствования во всех частях языка и в таком значительном количестве, что ученые говорят о греческом колорите (*color Graecanicus*) у Апулея. Однако по большей части эти грецизмы не являются нововведением Апулея, а заимствованы им у поэтов эпохи Августа.

4. Обилие неологизмов.

5. Вульгаризмы (элементы разговорной народной речи),

придающие языку особую гибкость и живость. С влиянием разговорной речи связано и характерное для Апулея интонационное богатство фразы.

6. Афористичность речи, любовь к пословицам и поговоркам.

7. Частые злоупотребления средствами и приемами риторики (всем арсеналом их Апулей владел в совершенстве). Мысль его нередко тонет в море блестящих антитез, искуснейших параллелизмов (этот прием пользуется у Апулея особым предпочтением), замысловатых перифразов, патетических градаций и т. п. Здесь же уместно вспомнить о пристрастии Апулея к игре слов в самых разнообразных формах (тут и омонимы, и разные значения одного слова, и одно слово в разных формах, и однокоренные слова, и слова, сходно звучащие, и т. д.), к аллитерациям, ассонансам, рифмам (или, точнее, созвучиям). Все это, вместе взятое, равно как и тончайшая шлифовка каждой мелочи, зачастую стирает грань между прозой и стихом, тем более, что и ритмизованная проза – не редкость для Апулея.

8. Своеобразный синтаксис, анализ которого является важнейшей составной частью характеристики апулеевского стиля.

Огромный талант и языковое мастерство Апулея проявляются и в стилистическом разнообразии, отличающем его творчество. Еще гуманисты заметили, что в каждом сочинении он пишет иным стилем. И действительно, какой рез-

кий контраст между искусственностью и жеманностью «Метаморфоз» и прозрачную простотой трактата «О вселенной» (*De mundo*), к которому очень близка в стилистическом отношении и «Апология»! Да и внутри одного произведения стиль то и дело меняется. Разве одинаково говорят разбойники и жрец Митра, разве одни и те же интонации звучат в новелле о легкомысленной жене бедняка и в рассказе о страданиях покинутой Психеи? Вот почему «Метаморфозы», несмотря на всю их искусственность, во многих языковых деталях живее, реалистичнее и ближе к разговорной речи, чем «Апология», примыкающая в какой-то мере к традициям цицероновской прозы.

Задачей переводчиков было, не впадая в грех буквализма и не нарушая законов русского языка, отразить эти стилистические особенности оригинала со всею возможною точностью. И если читатель будет иметь это в виду, его, вероятно, не удивит приподнятый и несколько необычный язык перевода «Метаморфоз».

С. П. Маркиш